Александр Николаевич Островский (По моим воспоминаниям)

Сергей Васильевич Максимов

SHOUT
SHARE
IT

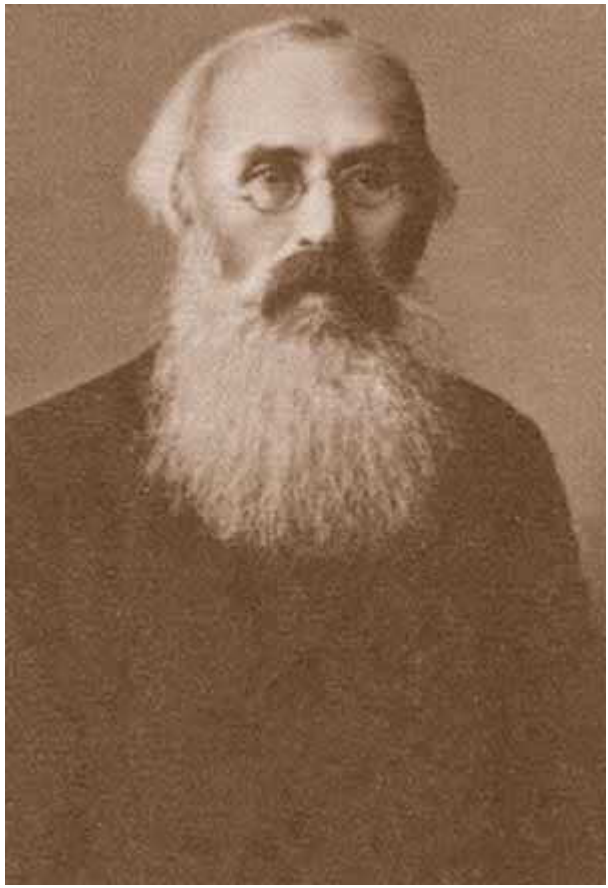
Annotation

В сокращении

-
- ***
- ПРИМЕЧАНИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35

- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79

- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97



***

Если с Большой Лубянской площади пойти по Солянке, мимо Опекунского совета, в котором некогда находилась в закладе и перезалоге почти вся помещичья Россия, повернуть налево, то ударишься (как говорят в Москве) в узкий переулок. Огибая церковь Иоанна Предтечи и делая длинное и кривое колено, Серебрянический переулок приводит на поперечную улицу. Прямо против устья переулка стоял неказистый деревянный дом обычного московского пошиба. Обшит он был тесом и покрашен темною коричневою краской; размерами небольшой, в пять окон. С улицы он казался одноэтажным, так как второй этаж глядел окнами на свой и соседний двор. Дом стоял на самом низу, у подошвы горки, и начинал собою ряд других домов такого же узенького, но на этот раз прямого переулка, примыкающего на верхушке к церкви Николы в Воробине.[1]

Московской городской управе на этом некрасивом Доме, следуя добрым обычаям петербургской, уже не доведется прибить доску с надписью, напоминающею о том, что, в честь родного слова и во славу отечественного искусства, здесь жил и работал Александр Николаевич Островский. "И ста запустение на месте святе":[2] Домовое место прорезано теперь новым переулком, носящим иностранное имя, вероятно, того фабриканта, который взгромоздил тут же на углу безобразное здание своего заведения, а против него выстроились два дома, покрашенные голубою краской.[3] <…>

Прямо перед окнами А. Н. Островского расстилался обширный пустырь, принадлежавший народным баням, исстари называвшимся «серебряными», — и, вероятно, они были первыми в Москве общими и торговыми; по крайней мере, упоминание о них во владенных старых актах относится ко временам царя Алексея. <…>

Из окон второго этажа, который занимал Александр Николаевич в пятидесятых годах, и мы видали виды, которые также ушли в предание: выскакивали из банной двери такие же откровенные фигуры, какие изображены на павловских гравюрах.[4] Срывались они, очевидно, прямо с банного полка, потому что в зимнее время валил с них пар. Оторопело выскочив, они начинали валяться с боку на бок в глубоких сугробах снега, который, конечно, не сгребался. Затем опрометью же эти очумелые люди бросались назад в баню на полок доколачивать, ласково и ругательно, вперемежку, обращаясь к парильщику, горячими намыленными вениками белое тело впрок и стальной

закал "на предыдущее время". "Стомаха же ради и частых недугов",[5] для закрепы свежей стали в надлежащую оправу после горячей и дешевой бани имелся тут же и перед окнами кабак: в банные дни не переставая взвизгивала входная его дверь на блоке с кирпичиком.

Предбанный пустырек и неказистый дом нашего драматурга обеспечен был полицейской будкой, ушедшей также в предание. Не столько охранялся он ею, сколько докучливо торчала она сама перед глазами, единственно с тою целью, что так угодно было начальству. Будку эту с подчаском занимал беззубый полицейский страж Николай, сделавшийся теперь (по крайней мере, лично для нас) также в своем роде лицом историческим, при всем ничтожестве его значения для обывателей. <…>

Гостеприимный хозяин жил здесь в простоте уединенного и неказового быта, подчиняясь всеобщим московским обычаям, намеренно не желая от них отставать, как заповедных и священных для него, в особенности как для коренного истинно русского человека в самом высшем значении этого великого слова. Так, между прочим, когда он жил в верхнем этаже, у него туда не было проведено звонка. И в этом он не отставал от соседей.

Когда медленным шагом и с опасливой оглядкой "не наша" цивилизация вместе с комфортом пробиралась по стогнам богоспасаемого града — Москвы (вскоре после крестьянской свободы), зацепляя, однако, и захолустные Зацепы, — звонки начали проводить во дворы. Надо было повеситься на ручке у калитки любого дома на Таганке и в Замоскворечье, чтобы вызвать заспанного сторожа и под защитою его входить со двора мимо лохматой собаки. Она испуганно надрывалась от лая до перехватов в горле, а привязана была таким удобным способом, чтобы всех входящих чужих возможно ей было хватать прямо за икры.

Удостоенные чести свободного входа в открытые двери, войдем сюда под радушный кров этого светила нашей литературы в то время, когда еще вокруг него и в нем самом весело играла молодая жизнь, — войдем, и

> С благоговейною слезою
> Благословим мы, что прошло,
> И перед урной гробовою
> Преклоним скорбное чело.

Действительно, особенная умилительная сердечная простота во взаимных отношениях господствовала в полной силе здесь, в

безыскусственной обстановке жизни нашего великого писателя. Он в коротенькой поддевочке нараспашку, с открытою грудью, в туфлях, покуривая жуковский табак из черешневого чубука, с ласковой и неизменно приветливой улыбкой встречал всякого, кто получил к нему право входа. Требования для того были скромны, но обусловлены твердо и решительно, не по писаной инструкции, а на основах обычного права: обязательно быть прежде всего русским человеком и доказать свои услуги какой-либо из отраслей родного искусства, той или другой — безразлично. Если давалось преимущество литературным и театральным деятелям, то это зависело от того, что сам хозяин исключительно в эту сторону обратил всю свою любовь и здесь же укрепил свои верования безраздельно и бесповоротно.

Открытое исповедание этой твердой и непоколебимой веры в силу и мощь народного духа он успел уже предъявить громогласно ко всенародному известию, — и стал он посвященным избранником. Неразлучная с верой любовь к отечественному искусству и родному слову обаянием своим послужила притягательной силой, — и избранник стал во главе первенствующим.[6] Неотложно объявились у него пособники, и не замедлили вскоре затем явиться поклонники. Всякий принес свою посильную лепту, а при жертвах и на эти доброхотные вклады усилились и средства к укреплению самой веры, и облегчилось поступательное движение по тернистому пути к открытой и ясно обозначившейся, сквозь полумрак, желанной цели. Соединенные усилия уже одни обнадеживали успехом, несмотря на то что дорога тянулась по рытвинам, через груды наваленных препон, и мосты через реки были поломаны или совсем разрушены, и подъемы на горы либо запущены и, будучи заброшенными, стали зарастать, либо намеренно были попорчены так, что не только ослабевала надежда на какую-либо победу, но недоставало и многих орудий, необходимых и пригодных для борьбы. У старорусских богатырей на эти роковые случаи недобрых встреч с препонами припасено было вещее слово зарока — идти дорогою прямоезжею и твердо веровать, что все то не божиим изволением, а по злому вражьему попущению. Шли уверенно вперед и эти новые по заветам старых и вели борьбу неустанно, испытывая временами тяжелые поражения, временами же освежаясь и укрепляясь сладкими плодами счастливых побед. Когда же совсем рассвело, исчез ночной сумрак и загорелось на небе яркое красное солнце, оказалось, что в честной борьбе у этих путников прибавилось силы. За великую любовь их не только досталась им победа с одолением, но и в, силу того на законных основаниях многое им было выделено в приобретение и

приращение добровольно уступленным, как бы и в самом деле в прямую награду за старые труды и дознанные подвиги. Как до этой поры эта любовь к родине и страдающему меньшему брату закаляла мужество, так теперь, когда и для этого наступили счастливые дни, старая любовь еще более окрепла и, сделавшись сознательною, повела к новым победам и приобретениям.

В самом деле, разбираясь в воспоминаниях о прожитом и проверяя свои давние наблюдения над виденным, слышанным и испытанным, уверенно приходишь к заключению, что единственно любовь к народу руководила всеми мыслями и деяниями того московского литературного кружка, которому посвящены эти строки. Живыми, как бы сейчас и наглядно действующими, являются усиленные заботы и работы, дружные и совместные, всего кружка, уже успевшего оставить «Москвитянин» и возрасти численностью от вновь примкнувших добровольцев.[7] На первом плане и на видном месте стояла русская народная песня. Она прежде всего и напрашивается на воспоминания наши.

Русские народные песни в компании молодых московских писателей очень долгое время пользовались особым почетом. Хороших безыскусных исполнителей, умевших передавать их голосом без выкрутов и завитков, разыскивали всюду, не гнушаясь грязных, но шумливых и веселых трактиров и нисходя до погребков, где пристраивались добровольцы из мастеров пения и виртуозов игры на инструментах. Здесь услаждали они издавна праздных любителей из купечества.

— Делай, делай! — раздавались поощрительные возгласы загулявших и разгулявшихся, от которых, в награду и поощрение певцов и музыкантов, следовало угощение сладкими водками, денежные награды, наконец объятия и поцелуи.

— Выпьем еще плоскодонную рюмочку. Ведь пьешь?

— Пью все, окромя купоросного масла.

— Повторим по рюмочке для верности глаза.

— Давай ему еще этого самого, монплезиру.

— Наливай нам разгонную.

И т. д.

Тертий Иванович Филиппов в одном из последних своих писем к Горбунову вспоминает о подобном веселом заведении у Каменного моста: "Николка рыжий — гитарист, Алексей с торбаном: водку запивал квасом, потому что никакой закуски

желудок уже не принимал. А был артист и «венгерку» на торбане играл так, что и до сих пор помню".[8] Будучи сам превосходным исполнителем народных песен и в то же время ученым исследователем и знатоком отечественной поэзии, он придавал своим выразительным художественным исполнением высокую ценность всем этим перлам родного творчества, отыскивал и пел наиболее типичные или самые редкие, полузабытые или совсем исчезающие из народного обращения. <…>

Действительно, над всеми певцами изяществом и точностью исполнения главенствовал Тертий Иванович и был непобедим. Бесплодно силились соперничать с ним два земляка-друга: М. А. Стахович и П. И. Якушкин, приставшие со своими орловскими песнями, верно передаваемыми по говору и мотивам. Первый, впрочем, восполнял недостатки в пении искусною игрою на гитаре и был неподражаем в пляске, а Якушкин, зная огромное количество песен, напевы их, своим крикливым раскатистым голосом не умел передавать верно и очень многие путал. Самого А. Н. Островского г-жа Воронова засчитала в певца, свидетельствуя, что он недурно пел. Она умела аккомпанировать; у нее нашлись знакомые ему романсы, и он никогда не отказывался петь, когда его просили. "Мне, — пишет г-жа Воронова, — никогда впоследствии не приходило в голову спросить у кого-нибудь из людей, близких к Островскому, что сделалось с его голосом и его пением, но тогда мы им очень любовались".[9] На этот вопрос ответ простой: он перестал петь; по крайней мере, я, да и никто из ближайших к нему лиц, ни разу не слыхал его пения, потому ли, что спал с голоса и огорчился до молчания, или потому, что счел более полезным и безопасным для себя уступить место лучшим и настоящим певцам.

В числе последних выделялся разысканный в погребке на Тверской (угол Университетского переулка) приказчик, торговавший на отчете, — М. Е. Соболев, ярославец родом, владевший, что называется, серебряным голосом: высоким, звучным и чистым тенором, ловко и умело приготовленным к заунывным деревенским песням. Стремился он, впрочем, доморощенным вкусом к чувствительнейшим романсам и ариям из опер ввиду увлечения знаменитым и несравненным театральным певцом Бантышевым. Впрочем, Соболев умел уловить только быстрый и разудалый переход от арии в "Аскольдовой могиле"[10] к песенке "Чарочки по столику похаживают". В песенке Торопки[11] "Близко города Славянска" Соболев немного походил на Бантышева; в исполнении «Размолодчиков», "Не белых снегов во чистом поле" и "Вспомни, любезная, мою прежнюю любовь" имел соперника только в одном

Т. И. Филиппове. Слушать его сходились и такие мастера пения, как старик цыган, родной брат Матрены, восхищавшей Пушкина, [12] — старик купеческой осанки, знавший много старинных былин (я со слов его записал нигде не напечатанную про Алешу Поповича, прекрасную). А заходил он сюда, между прочим, выпить самодельной мадерцы бутылочку и закусить ее, на условный московский вкус, либо мятным пряничком, либо винной ягодой. Видывали здесь и Ивана Васильева, известного и в Петербурге содержателя самого лучшего хора (в страхе, смирении и целомудрии), почтенного и всеми уважаемого человека, который и в компании Островского пользовался должным вниманием и любовью. Здесь же, в погребке, нередко заседал театральный певец Климовский, пением которого один любитель восхитился до того, что назначил ему ежегодную пенсию, и проч.

Во всяком случае, этот погребок Зайцева (по вывесочной надписи: Zeizow) был своего рода клубом. Для посетителей из любителей пения предоставлено было особое помещение наверху, над погребком, в виде довольно просторной залы. Насколько же не признавали его отделением кабачка, доказал один из посетителей, известный художник,[13] не задумавшийся нарисовать на стене мастерски углем свой портрет, который бережно потом охранялся, конечно, служа в то же время и некоторой рекламой.

Вскоре клубным местом приятельских свиданий сделался, по заветному обычаю, общему всей Москве, московский трактир Турина, или лучше — то его отделение, которое очень издавна называлось "Печкинской кофейной" и имело отдельные кабинеты. <…>

Увлечение кружка Островского или "молодой редакции" «Москвитянина» русскою песней, может быть, имело прямым или косвенным источником движение в эту сторону славянофилов во главе с П. В. Киреевским, примыкавших также своими симпатиями к погодинскому журналу. С другой стороны, тем не менее перлы народного творчества здесь получали живое художественное толкование. Песня оживала не в мертвых записях, а в своих цельных образах. Тут уже вовсе не требовалось сухих комментарий, которыми вскоре по выходе в свет сборника Киреевского совершенно затемнили ее истинный, глубокий смысл, а ненужными и неуместными мудрствованиями умалили и ее высокую ценность.[14] То же увлечение кружка производило и другие благотворные влияния и, между прочим, на творчество современных поэтов. Наиболее талантливый из них, примкнувший несколько позднее (бывший в то время инспектором Второй московской гимназии на Разгуляе) Лев

Александрович Мей, успевший создать прелестные лирические произведения на восточные мотивы, и преимущественно еврейские, на библейские темы, евангельские события и события из римской жизни, решительно переменил строй своей лиры, перейдя на родную отечественную почву. <…> В товарищеские беседы кружка Островского Мей, конечно, имел полную возможность внести известную дозу эстетических наслаждений, но несравненно меньшую тех, которые доставлялись исполнением не сочиненных и оглашенных, а коренных народных песен, принятых непосредственно из уст самого народа.

Во всяком случае, на этом наглядном примере поэта представляется для нас незабвенным и знаменательным то явление, что если в кружке московских друзей привольно было лишь коренным русским людям, то побывавший здесь уходил и с более приподнятым челом, уверенною и твердою поступью, как будто он на свое прирожденное звание получил оформленный и засвидетельствованный патент.

Известное право, как бы своего рода патент, требовалось, конечно, для того, чтоб обратить на себя внимание кого-либо из членов кружка и быть сюда представленным и затем допущенным. Вспоминаю про эту молодежь, которая окружила А. Н. Островского, удачно была им подобрана, а между собою успела спеться так, что умела подцветить досужие часы работников мысли и слова, когда они для обмена мнениями и для развлечений собирались у Островского, у Григорьева, у Евгения Эдельсона. Брат последнего, Аркадий, представил своего товарища по рязанской гимназии, Колюбакина. Этот прихватил с собою Мальцева, и т. д. Образовалась, таким образом, небольшая компания живой и веселой молодежи в составе четырех-пяти человек, прозванная шутливым образом «оглашенных». Бродяжною или праздною она не была: либо училась, либо служила и, привлеченная притягательною силою литературного светила, составилась из самых усердных и горячих его поклонников. Благодарная за допуск и счастливая исключительностью своего положения, она, в свою очередь и в меру наличных сил и способностей, желала и умела послужить кружку избранных хотя бы веселостью, вообще неразлучною с молодостью. Сам хозяин добродушно и искренно увлекался шаловливыми, остроумными и находчивыми шутками Мальцева; заливался детским, визгливым хохотком своим смешливый Писемский; приходил в обычный восторг, проявлявшийся громким откровенным смехом, легко увлекавшийся Ап. Григорьев. Подхваченные здесь песенки и романсы выносились в нашу студенческую семью, где и распевались те из них, как,

например, "Спи, моя Ядента", которые наиболее отвечали молодому настроению и резвому задору.

Живой и всегда неизменно веселый, с явным оттенком беззаботного характера и открытой души, Костя Мальцев необычайною подвижностью нервной природы успел выделиться из всех прочих. Он с неподражаемым мастерством умел представлять сцену молящейся старухи. Стоило ему лишь накинуть на свою курчавую голову носовой платок, подвязав его под подбородком, вытянуть этот подбородок, измять морщинами свое красивое лицо с правильными чертами, — и подобие семидесятилетней шепелявой и беззубой старухи было изумительно и по сходству и по быстроте превращения. Она расположилась молиться усердно, накладывая широкие кресты на лоб и плечи, но вдруг и неожиданно привязалась чужая и злая собака. Старуха молится, собака теребит ее за подол и намеревается укусить за ногу. Одна лает, другая ворчит на нее и отмахивается, не забывая в то же время шепелявить молитвенные слова. Собака наконец добилась своего — укусила, старуха своего — больно ударила ногой в морду. В одно время и собака визжит от боли, и старуха от той же причины вскрикивает. И вой и крик, перемешаясь, сливаются, пока изумительный артист не оставит места представления и не удалится, прихрамывая. Еще забавнее была эта же сцена, когда она разыгрывалась вдвоем с Колюбакиным, но вызывала гомерический смех их же обоих; сцена, представляющая стадо, которое гонит пастух с поля, и животные, большие и малые, с изумительным сходством подавали свои голоса. В москворецкой бане у Каменного моста шустрый Костя, вбегая в раздевальную, раз заржал жеребенком. Банщик Иван Мироныч Антонов, маленький ростом, говоривший фальцетом и отборными книжными словами, на шалость Мальцева заметил тем выражением, которым воспользовался Александр Николаевич в одной из своих комедий:[15] "малодушеством занимается".

На помощь Мальцеву являлись либо И. Е. Турчанинов, либо «Межевой», либо иные досужие и умелые рассказчики. Первый — Иван Егорыч — числился в драматической труппе Малого театра, неизменный и постоянный спутник Островского, сблизившийся с ним и приятный ему по одной общей страсти. Оба были страстные и замечательные рыболовы, особенно в мудреном способе лова на удочку, для чего уезжали они на знаменитые карасями пруды подмосковных сел Коломенского и Царицына. Иван Егорыч придумал изображать на своем лице и всей фигурой старую истасканную шубу. Некто весельчак и чудак, служивший землемером, а в компании известный под названием «Межевого»

и "Николая последнего", охотно во всякое время уморительно представлял утку, и т. д..[16] Мелкие рассказы и забавные сцены не переставали чередоваться одна за другою вперегонку и соревнование, пока не появился Иван Федорович Горбунов, заставивший всех прочих или стушеваться, или совсем замолчать. Осталось им перенимать его сцены, с большею или меньшею удачею ему подражать и, во всяком случае, распространять о нем молву и помогать укреплению его славы. Как компетентные (отчасти) судьи, эти его предместники были первыми его приятелями и восторженными поклонниками. Мальцев, например, вскоре покинул старуху, как только Горбунов воспользовался тою же природного подвижностью своих лицевых мускулов и успел создать классического и неумирающего генерала Дитятина.[17] Колюбакина, богато одаренного от природы разнородным дарованием и обещавшего сделаться серьезным артистом-комиком, в компании веселой молодежи Горбунов уже не нашел. Живы были о нем рассказы, и памятной осталась мимоходная легкая заметка Александра Николаевича, в шутливой форме, вызванная случайным совпадением: университетские студенты Колюбакин и Мальцев были рязанцами. Это дало повод Островскому, задумавшему тогда своего «Минина» и занимавшемуся разбором старых исторических актов, сделать бытовую справку:

— Эти рязанцы по природе уже таковы, что, как немцы, без штуки и с лавки не свалятся. Ведь вот наш костромич Сусанин не шумел: выбрал время к ночи, завел врагов в самую лесную глушь; там и погиб с ними без вести, да так, что до сих пор историки не кончили еще спора о том, существовал ли еще он в самом деле на белом свете. А Прокопию Ляпунову понадобилась веревка на шею, чтобы растрогать: и вовсе в этой штуке не было нужды. Актерская жилка у всех рязанцев прирожденная (и он перечислил достаточное число известных лиц). Надо же ведь случиться тому, что и Садовский родился рязанцем. <…>

Не малое наслаждение доставляли нам неслыханные комические рассказы собственного сочинения Колюбакина, которые потом высоко оценены были компанией Островского. <…>

Еще лучше и, можно смело сказать, с художественным мастерством читал Колюбакин гоголевские комедии, в особенности «Тяжбу»; сам Садовский отдавал ему преимущество перед своим чтением, и с этим согласны были все прочие. Такое-то мастерство, заявленное нашим другом на несказанную радость и гордость нашу, между прочим, по дошедшим слухам, заинтересовало Островского. Привел к нему милого и любимого

товарища Аркадий Эдельсон, а чрез него уже устроилась и первая наша встреча с знаменитым писателем. Не для ответного визита, а уже прямо с целью готового отозваться на зов человека, который пришелся по душе, и еще лишний раз полюбоваться им в его товарищеской семье, Александр Николаевич Островский пришел к нам на чердачок на Спиридоновку.

Посмотреть на его ясные очи мы настроились торжественно и радостно; нервно, хлопотливо и суетливо готовились мы к встрече его. Вымели комнатку, прибрали постели, побрились, вычистили самовар, собрали целый капитал, суммою свыше пяти рублей, на угощение, в котором к бутылке дроздовки прибавлена была еще бутылка мадеры. Думали было на оставшуюся сдачу купить монашенок.[18] и покурить ими, но Колюбакин отклонил: дорогой гость сам курил жуковский табак и, помнится, носил его при себе в кисете. Давно уже мы бегали по трактирам с исключительною целью добиться книжки «Москвитянина», где была напечатана комедия "Свои люди — сочтемся!".[19] Ни протекция половых, Семена и Кузьмы, ни переход в московский Железный трактир, где также выписывались все журналы, не помогли нашей неутомимой жажде. Понапрасну мы съели много пирогов в двадцать пять копеек ассигнациями и выпили несколько пар чаю, пока добились книжки для прочтения второпях, так как настороженные половые стояли, что называется, над душой, выжидая, когда отложена будет книжка в сторону, схватить и унести ее к более почетному и уважаемому посетителю. Насладившись торопливым чтением, мы, как будто совсем не читали, узнали ее совершенно вновь, когда Колюбакин принес от Евг. Ник. Эдельсона эту комедию и своим мастерским чтением протолковал ее нам во всю художественную силу в рельефно выраженных красотах ее. <…>

На покинутое Гоголем добровольно и вакантное место выступил достойный последователь и прямой наследник его, с выработанным новым взглядом на русскую жизнь и русского человека, с особенным преимуществом знатока великорусского народного быта и его, несомненно, верных и до тонкости изученных национальных свойств, а в особенности отечественного языка в изумительном совершенстве.

Перед нами въяве уже объявилось новое, вспыхнувшее ярким блеском светило, и с трепетным чувством благоговения смотрели мы на него, всматривались во все черты его умного лица, прислушивались к звукам его голоса, который казался нам музыкально-мелодичным, и ловили каждое слово. Изумлены были в то же время его простым товарищеским отношением к Колюбакину и ласковым, прислушливым и внимательным

обращением с нами. И, помнится, всем этим были даже несколько недовольны: не того мы ждали, не то рисовало нам прислужливое воображение, забежавшее вперед. Словно надо было бы как-нибудь повеличественнее и повнушительнее: ведь уже избранник, ведь уже лежит на широком и открытом челе его печать бессмертия. <…>

На первый взгляд Александр Николаевич показался нам, судя по внешнему виду, замкнутым, как будто даже суровым, но, вглядевшись, мы заметили, что каждая черта лица резко обозначена, хотя вместе с тем и дышала жизнью. Верхняя часть лица в особенности показалась нам привлекательною и изящною. Но лишь только развернулся Колюбакин, куда эта вся черствость взгляда скрылась. Глаза сделались ласковыми, исчезло величавое выражение всего лица, и заметная на нем легкая складка лукавого юмора уступила теперь добродушному и открытому смеху. Эта быстрая смена впечатлений в подвижных и живых чертах лица, выражавшаяся неожиданным переходом от задумчивого к открытому и веселому выражению, всегда была поразительна. Мы приняли это в свидетельство, что под обманчивой и призрачной невозмутимостью и при видимой солидности в движениях скрывалась тонкая чувствительность и хранились источники беспредельной нежности, иначе бы он так мягко и ласково не улыбался и не был бы так очаровательно прост. Белокурый, стройный и даже, как и мы все, малые и приниженные, застенчивый, он и общим обворожительным видом, и всею фигурой совершенно победил нас, расположив в свою пользу до последней степени.

Сопоставляя свои первые наблюдения с впечатлениями Горбунова при каждой встрече с Островским, невольно останавливаешься на тождестве чувств.[20] <…>

Впоследствии и вскоре Островский поспешил доказать и многоразличными фактами убедить всех нас в том, что он был поистине нравственно сильный человек, и эта сила соединялась в нем со скромностью, нежностью, привлекательностью. Кроткая натура его обладала способностью огромного влияния на окружающих. Никогда ни один мыслящий человек не сближался *с* ним, не почувствовав всей силы этого передового человека. Он действовал, вдохновлял, оживлял, поощряя тех, кто подлежал его влиянию и избранию. Дружба его умножала нравственные средства, подкрепляла нас в наших намерениях, возвышала и облагораживала наши цели и давала возможность действовать с большою способностью в собственных делах и с большою пользой для других.

При таких высоких свойствах Островского приблизившиеся к

нему уже не отставали от него, пребывая верными ему до конца. Вглядываясь во всех окружавших его и близко стоявших к нему и вспоминая каждого в лицо и по имени, вижу не один десяток таких, которые, как звенья в цепи, как плетешек в хороводе, цепляясь один за другого, тянулись сюда неудержимо. Все твердо знали, что здесь почувствуют они себя самих в наивысшем нравственном довольстве, утешенными и успокоенными. Никогда и никому ни разу в жизни Александр Николаевич не дал почувствовать своего превосходства. Он был уступчив и терпелив даже и в тех случаях, когда отысканная им или только обласканная личность в самобытности своей переходила границу и вступала в область оригинальности, вызывавшей улыбку или напрашивавшейся на насмешку, — словом, когда этот оригинальный человек начинал казаться чудаком. Конечно, это было на руку драматическому писателю, одаренному тонким чутьем наблюдателя, и заявляемые странные уклонения в характерах принимались про запас для будущих работ как материал для комедий; но самый наблюдаемый субъект не испытывал неловкости положения. Не оскорблялось его самолюбие, и он сам не только не спешил отходить прочь, но еще прочнее и душевнее привязывался к наблюдателю.

Колюбакин был неудачлив и даже несчастлив именно тем, что слишком короткое время находился под влиянием этой высокой личности и представлял противоположный образчик тому, чем стал впоследствии Горбунов как художник, выработавшийся под ближайшим и долговременным влиянием Островского. Последний успел помочь Колюбакину по оставлении университета тем, что исхлопотал ему место помощника капитана на меркурьевском пароходе «Гермоген». <…>

Среди счастливцев, окружавших Островского в первые годы его литературной деятельности, был и тот Несчастливцев,[21] который дал ему несколько черт для обрисовки симпатичного образа этого имени в известной, любимой публикою комедии «Лес», роль которого с таким блестящим и неослабевающим успехом исполнял на петербургской сцене Модест Иванович Писарев.

Сам автор, давно знавший этого уважаемого артиста как образованного человека и прекрасного исполнителя многих ролей в его разных пьесах, пожелал видеть Писарева в этой расхваленной роли. По окончании пьесы в Солодовниковском театре в Москве весною 1880 года Александр Николаевич пришел на сцену взволнованный, в слезах:

— Что вы со мной сделали? Вы мне сердце разорвали. Это — необыкновенно!

— А я боялся сегодня только одного вас, Александр Николаевич. Кроме вас, для меня никого не существовало.

— Вам некого бояться, Модест Иванович!.. Это высокохудожественно!.. Это, повторяю, необыкновенно!

Такая же жертва личного темперамента,[22] столько же талантливый, но более опытный сценический деятель в драматических ролях был в то же время последним из могикан, последним трагиком, пользовавшимся огромною известностью в провинциях и горячею привязанностью товарищеской семьи — несчастных пролетариев, бездомных и бездольных скитальцев, на судьбу которых лишь в последние дни обратила внимание благотворительность. Это — Корнилий Полтавцев, несомненный благодетель меньшей актерской братии, единоличный, скорый и умелый заступник и охранитель ее при хищнических и безнаказанных поползновениях театральных антрепренеров. Во всяком случае, память о нем благодарно сберегалась столь долгое время, и имя его в своей сфере заслуженно переходит в потомство. Обладая горячим сердцем, привлекательным, уживчивым и ласковым нравом, он делился с товарищами последним куском черствого хлеба и, как Колюбакин, в буквальном смысле последнею оставшеюся в дорожной сумке рубашкою. Из всех знакомых артистов Корнилий, как хорошо мне помнится, у Александра Николаевича Островского пользовался особенною, предпочтительною любовью… <…>

Егор Эдуардович Дриянский из всех московских литераторов был наиболее частым посетителем и собеседником Островского, и не одно лишь это обстоятельство обязывает нас остановиться на нем воспоминаниями. За отзывчивое, мягкое сердце он в равной степени оценен был и литературными и театральными кружками: у постели умиравшего Корнилия Полтавцева он проводил целые дни и темные ночи; в литературных кружках возбуждал сочувствие постоянными неудачами в делах. <…> На писания он был скор и плодовит. Покойный Горбунов до самой смерти не мог забыть той формы извещения, с которой явился раз Дриянский к А. Н. Островскому, как бы с каким рапортом:

— Ту повестушку, что читал на днях, исправил, как указывали. Теперь роман "заквасил".

Роман этот, взятый Катковым для "Русского вестника", вызвал целую бурю недоразумений и споров, приведших даже к жалобе Дриянского в газетах. "Положение мое хуже в десять раз, чем сказать бы скверное (пишет он мне). Брожу как очумелый и не придумаю, что начать, и с каждым днем прихожу к более и более грустному убеждению, что у нас на Руси добыть кусок насущного решительно нет возможности честным литературным трудом.

Роман, по милости Каткова, теперь должен, кажется, прокиснуть, лежа на столе:[23] у нас в Москве издателя не найдешь со свечой. Один Салаев — и тот, при всей охоте, отнекивается, ссылаясь на трудность ладить с цензорами, которые, вследствие нового благодетельного постановления, отказываются читать рукописи, превышающие десять печатных листов, а по отпечатании могут кромсать вещь, как их душеньке угодно".[24] <…>

Впрочем, не один неудачливый Дриянский сетовал на подобные затруднения в обнародовании заготовленных для печати произведений. Тот же досадливо нахмуренный тон слышится и от не менее известного писателя и более близкого приятеля А. Н. Островского, каков автор «Ночного» и проч. <…> М. А, Стахович, однако, не подходит под уровень с Дриянский, как очень богатый человек, вовсе не нуждавшийся в литературном заработке, и притом настолько денежный, что это самое богатство послужило одною из причин его преждевременной насильственной смерти. <…>

Стахович не только был незаурядным песенником, но и большим знатоком народного быта; был общительным и популярным в народе человеком, как прямой и искренний радетель крестьянских интересов в достопамятную эпоху реформ и в первые годы проведения их в жизнь среди множества опасных подводных скал.

По невольному тяготению и сродству душ все наличные художественные силы Москвы находились естественным образом в тесном сближении с литературным кружком "молодой редакции" «Москвитянина», начиная с музыкальных художников, каковы Николай Рубинштейн и Дютш, и кончая художниками в собственном значении, каковы профессор Школы живописи и ваяния Рамазанов и художник Боклевский (скончавшийся в Москве в 1897 году).

Петр Михайлович Боклевский к самому началу литературной известности Островского успел вернуться из-за границы, куда ездил для изучения школ живописи (преимущественно испанской) по окончании полного университетского курса. Съездил он не только в Италию, но и в Испанию счастливцем для тех времен строжайших запретов на выезд, осложненных большими хлопотами и усиленных дороговизною заграничных паспортов. Когда выросла слава Островского, Боклевский явился к нему на помощь, как истолкователь художественных красот, во всеоружии опыта и силы. Испробовав их в блестящих, всем известных рисунках бойким мастерским карандашом типов "Мертвых душ" и других произведений Гоголя, Петр Михайлович с такою же любовью и с таким же точно проникновением в суть

творческого замысла изобразил типы из комедии "Бедность не порок". Они пленили Тургенева в оригинале до такой степени, что он добровольно вызвался дать им ход и заботливо хлопотал об издании рисунков у петербургских издателей.[25]

Это сближение передовых людей московской интеллигенции в особенный кружок (отдельно от профессорского[26]) если и произошло оттого, что по случайному совпадению все были «ровесниками», то есть ровнями по годам, то, с другой стороны, скреплению его главнейшим образом содействовало другое важное обстоятельство: все они безусловно были «сверстниками» — сплоченность союза облегчалась тем, что подошли друг к другу под лад и под стать. Тем не менее мягкой и любящей, снисходительной и уступчивой натуре А. Н. Островского значительною долею обязан был этот кружок тем, что дружно вел свое дело и не расходился долгое время, несмотря на замечательное разнообразие составных элементов. В московском разобщенном обществе, охотно и ярко предъявлявшем наклонность к уединению и отчуждению от того, что находится вне сферы личных коммерческих интересов, уже одна эта возможность сближения составляет немалую заслугу. Быть же связующим звеном в таком разнохарактерном сборе видимо не подходящих лиц, в каком поставили Александра Николаевича случайные обстоятельства, — это уже нечто выходящее из ряда всеобщих обычных явлений. Уральский казак и торговец из оптового склада Ильинских рядов, знаменитый виртуоз, не имевший себе соперников в Москве и разделявший славу с Антоном Рубинштейном и его братом Николаем, и рядом кимровский мужичок — бывший сапожник; учитель чистописания и рисования — и известные критики эстетики; землемер и актеры[27] — все объединены и согласованы, все под одним знаменем служения изящному и любви к народу исполняют честный долг пред дорогой и святой родиной.

Уральский казак Иосаф Игнатьевич Железнов прибыл в Москву случайно для временного жительства по казенной надобности, как адъютант командира казачьей сотни, а уехал из нее почтенным литературным деятелем, известным не в одних лишь пределах своего войска. Можно смело сказать, что кружок Островского создал в нем литератора, и он стал таковым, даже лично для себя совершенно неожиданным и незаметным образом. <…>

Железнов — пришелец с вольного Яика и из киргизских степей, обративший на себя внимание живыми рассказами об удалых казачьих подвигах на Каспийском море во время так называемого аханного рыболовства.[28] Его уговорили записать

этот рассказ на бумаге; общим советом выровняли, вычистили, исправили написанное и, по общему же приговору, постановили его напечатать в последних книжках «Москвитянина» 1854 года. [29] <…>

Более умный, чем талантливый, менее образованный, чем деловой и практический, Иосаф Игнатьевич сделался любимцем московского кружка наиболее тем, что был самобытным и цельным человеком, с теми исключительными чертами, которые свойственны были ему как природному казаку. Не как особняк или новинка, он оказался симпатичным и сделался своим человеком по личным качествам, по готовности делиться богатыми сырыми материалами и по той горячей любви, которая ярко светилась во всех его рассказах о родной стране. <…>

Как с подлинными новинками, он знакомил с казачьими песнями, а главнейшим образом с их «сказаниями». Для собрания последних под влиянием московского кружка он даже нарочно съездил из Москвы на побывку, а вернувшись в Москву, снова и усердно занялся самообразованием и главным образом изучением исторических актов, относящихся до казачества. Под руководством московских друзей и при их хлопотах и содействии он усидчиво занимался в московском архиве инспекторского департамента военного министерства, написал сочинение «Уральцы», записал "Предания о Пугачеве", готовился к составлению "Истории войска" (все его сочинения, напечатанные в 1888 году, составили три тома, а до того времени они печатались по частям в «Москвитянине», "Библиотеке для чтения" и других изданиях). <…>

10 июня 1863 года Железнов выстрелил себе в рот из охотничьего ружья, заряженного дробью. <…> Когда издатель "Детского чтения" (казак В. П. Бородин) задумал через двадцать три года по смерти Иосафа Игнатьевича издать «Предания», «Сказания» и "Песни уральских казаков", А. Н. Островский на письмо к нему отвечал полнейшею готовностью изготовить свои воспоминания об этом превосходном, честнейшем, но несчастном человеке. Только смерть Александра Николаевича в том же 1886 году помешала исполнить *его* заветное желание.[30] <…>

Одновременно с Железновым в кружке Островского можно было встретить другого радельника и печальника за народные интересы, *но* иного склада и покроя, хотя столь же любящего и искреннего, это — Сергея Арсеньевича Волкова. В молодости шил он на всю "молодую редакцию" «Москвитянина» фасонистые и крепкие сапоги. Когда стали подрастать его сыновья и вступать в тот возраст, когда нужен внимательный и строгий отцовский глаз, он перебрался в родную деревню Сухую — на Волгу, в семи

верстах вниз по Волге от села Кимр, однако все в том "сапожном государстве", где у всякого "шильцо в руках и щетинка в зубах". Волков занялся, впрочем, исключительно сельским хозяйством, но с особенною охотою облюбовал божью угодницу — пчелку. Когда я после пушкинских празднеств с товарищами навестил его в деревне, он, как увлекающийся юноша, хвастался успехами в этом хозяйстве и, несмотря на раннюю пору лета, вырезал-таки соты и попотчевал нас. По обычаю, жаловался он и в этот раз на распущенность нравов своих соседей, попечалился и на свою пчелку:

— Раскурили наши озорники табашные трубки на сеновалах, — и занялась наша деревня с того конца. Ну, думаю, божья власть: этот старый дом не жаль — довольно он мне послужил. А вспомнил я про пчелку и пожалел, — повелась она у меня умница на усладу и великое утешение. Пожалел я ее всем сердцем: стал таскать колодки, сколь ни тяжелы они, — на своих руках. Ухвачу в охапку и тащу в свой омшаник за деревней. Восемь колодок перетаскал, с девятою так и повалился на нее, как сноп.

— Устал, что ли, выбился из сил?

— Нету, — стерпеть не мог: изожгли.

Таким-то вот богатырем он сохранил себя далеко за семьдесят лет и рассказывал о своих старческих подвигах с тем откровенным простосердечием, которым все, знавшие его, положительно любовались. Бывало, слушает-слушает чтение Александра Николаевича, да и вставит свое веское словцо в подтверждение. На это он был охотлив и большой мастер, хотя нередко книжные, вычитанные в житиях, слова переделывал на свой лад иногда очень забавно. Не затруднялся он также дополнять кое-какими своими заметками многие художественные характеры в выслушанных им пьесах нашего драматурга, который все это принимал легким сердцем к своему сведению, так как и высказывалось все это спроста и сразу, без всяких задних мыслей и подходов. <…>

Этот добродушный и открытый, весь налицо, умный человек евангельской простоты к А. Н. Островскому питал особенные чувства глубокой привязанности. Для великого художника этот волгарь был драгоценен в значении беспримесного, непорченого и непорочного человека, как всесовершенный образец настоящего великоросса. Украшенный долготою дней, кимровский старик, с своей стороны, остался неизменно преданным священной памяти дорогого человека "во блаженном его успении" (как писал он сюда

в ответ на извещение мое о нашей тяжелой и невозвратимой утрате). Сам Александр Николаевич не только ценил в нем эту стойкость в коренных народных нравах и обычаях до крайних мелочей, но и любовался тою цельностью русской природы, черты которой редко являются в таком твердом и согласном сочетании. Насколько уважал и ценил А. Н. Островский кимровского приятеля, можно видеть из ответного письма по случаю приглашения на освящение вновь сооруженного в Сухом храма:

"Любезный друг, Сергей Арсеньевич. Я и Марья Васильевна благодарим тебя за приглашение. Жаль, что оно пришло не ко времени, а то я бы приехал непременно. 30 августа, на другой день Иванова дня, я именинник, и мне уезжать от своих именин неловко: я, не зная о вашем празднике, пригласил кое-кого из соседей. Поздравляю тебя с твоим душевным праздником! Будь здоров и помолись за нас, грешных: Александра и Марию с чадами. Вся семья тебе кланяется. Искренно любящий тебя А. Островский. Кинешма, 27 августа 1875 года".

Такова была и та притягательная сила богатства даров, какими обладал этот отечественный писатель и истинно русский человек и какие с избытком отпущены на его долю. Умилительно было видеть, с каким почтением и искреннею преданностью относились к нашему драматургу лучшие представители из московского купечества. Никто из нас не забудет той истинно родственной и дружеской привязанности к нему братьев Кошеверовых (доводившихся П. М. Садовскому дядями). В их семье не только сам Александр Николаевич, но и все «присные» его встречали те же ласки, находили такой же дружеский прием. Особенным радушием отличался старший брат, Алексей Семенович, глава дома и верховный хозяин дела, по законам старины, к которому все остальные братья относились с трогательным уважением и покорностью. Из них более тесным образом примыкал к кружку "молодой редакции" один из младших, Сергей Семенович, статный красавец с солидной походкой, внешностью своей напоминавший нам старую Москву. Таковы, невольно думалось нам, должны быть те бояре, которым доверяли цари охранение внутреннего порядка в государстве или защиту политических интересов перед иностранными государями в чужих землях: один вид и поступь могли уже внушать немцу убеждение в непобедимой стойкости до упрямства. Известное московское хлебосольство в лице старшего брата Алексея доведено было даже до крайних пределов, почти до чудачества. Так, например, он никому, сидевшему с ним в одном кабинете туринского трактира, не позволял платить денег за угощение. Когда заезжий гвардейский офицер, получивший от полового

ответ, что деньги уже заплачены, вломился в амбицию и дознался до виновника, — последний добродушно, своим мягким голосом и с кроткою улыбкой отвечал:

— Извините меня, старика; я вот уже двадцать пять лет занимаюсь здесь этим самым делом. Не обижайте же и вы меня: примите наше московское угощение, как хлеб-соль приезжему в честь. <…>

С наслаждением истинного художника вращаясь здесь, среди Русаковых,[31] Островский восполнял новыми приобретениями прежний и ранний запас добрых чувств и укреплялся в тех симпатиях к коренному русскому человеку, которые затем с неподражаемым мастерством высказал в положительных типах своих бессмертных комедий. Если в молодые годы его при исключительных условиях обстановки и встреч могли являться наблюдательному взору эти лучшие и дельные люди как редкость, то в эпоху его литературной славы они охотно шли к нему с благодарными чувствами истинного благоговения и полного уважения, без всякой задней мысли, без лицеприятия. Так, например, Иван Иванович Шанин (торговавший в оптовых Ильинских рядах Гостиного двора) весь готов был к услугам со своим замечательным остроумием, бойким, метким словом, умным и своеобразным взглядом на московскую жизнь вообще и на купеческий быт в частности, замечательною находчивостью при мимоходных характеристиках лиц и бытовых явлений. Это — своего рода талант, и притом, как уверяли, наследственный, во всяком же случае резко выдающийся и самостоятельный. До сих пор памятен его игривый мастерской рассказ о том, как обделывают иногородних покупателей московские оптовые торговцы, чтобы затуманить им глаза и не дать возможности хорошенько разобраться *в* отпущенной товарной залежи и в так называемом «навале», не указанном в требовательном реестре, доверяемом на кредит в прямом расчете, что и этот излишек и гнилье сойдет с рук и в темной провинциальной глуши легко распродастся. По самым достоверным известиям, полученным из верного источника, ему, Ив. Ив. Шанину, принадлежит основа того рассказа о похождениях купеческого брата, предавшегося загулу и потерявшегося, на которой возник высокохудожественный образ Любима Торцова (шанинский рассказ, говорят, нарисован был более мягкими чертами). С его бойкого языка немало срывалось таких ловких и тонких выражений и прозвищ (вроде, например, «метеоров» — для пропащих пропойных людей), которые пригодились в отделке комедий потом как прикрасы, для пущего оттенка лиц и образа их действий и мировоззрений.

Было бы недостойно памяти почившего драматурга и наших благодарных чувств, если б мы не послушались пословичного завета: "Из песни слова не выкинешь" — и прошли молчанием мимо первой спутницы его жизни в суровой нужде, в борьбе с лишениями, во время подготовки к великому служению родному искусству. Агафья Ивановна,[32] простая по происхождению, очень умная от природы и сердечная в отношениях ко всем окружавшим Александра Николаевича в первые годы его литературной деятельности, поставила себя так, что мы не только глубоко уважали ее, но и сердечно любили. В ее наружности не было ничего привлекательного, но ее внутренние качества были безусловно симпатичны. Шутя, приравнивали мы ее к типу Марфы Посадницы, тем не менее наглядными фактами убеждались в том, что ее искусному хлопотливому уряду обязана была семейная обстановка нашего знаменитого драматурга тем, что, при ограниченных материальных средствах, в простоте жизни было довольство быта. Все, что было в печи, становилось на стол с шутливыми приветами, с ласковыми приговорами. Беззаботное и неиссякаемое веселье поддерживалось ее деятельным участием: она прелестным голосом превосходно пела русские песни, которых знала очень много. Хорошо понимала она и московскую купеческую жизнь в ее частностях, чем, несомненно, во многом послужила своему избраннику. Он сам не только не чуждался ее мнений и отзывов, но охотно шел к ним навстречу, прислушливо советовался и многое исправлял после того, как написанное прочитывал в ее присутствии, и когда она сама успевала выслушать разноречивые мнения разнообразных ценителей. Большую долю участия и влияния приписывают ей вероятные слухи при создании комедии "Свои люди — сочтемся!", по крайней мере относительно фабулы и ее внешней обстановки. Сколь ни опасно решать подобные неуловимые *вопросы* положительным образом с полною вероятностью впасть в грубые ошибки, тем не менее влияние на Александра Николаевича этой прекрасной и выдающейся личности — типичной представительницы коренной русской женщины идеального образца — было и бесспорно и благотворно. Не сомневаюсь в том, что все сказанное сейчас *охотно* подтвердят все оставшиеся в живых свидетели, и могу даже признаться в том, что по доверенности двух из них,[33] ближайших к покойному, заношу эти строки в свои воспоминания как слабую дань нашего общего и искреннего уважения к памяти давно почившей, но незабвенной для всех нас до сего времени.

Вот вся та нравственная сфера и область деятельности и подвигов, в которой вращалось срединное светило, окруженное

постоянными спутниками, по общим законам тяготения и взаимных влияний. Подобно движению по проводникам обоих электрических токов, положительного и отрицательного (от него к ним и от них к нему), присутствие их по физическому закону стало незаметным и неуловимым, как только они соединились между собою. Очевиден лишь конечный изумительный результат: вольтова дуга накалилась, и заблистал яркий ослепительный свет.

— Поздравляю вас, господа, с новым светилом в отечественной литературе! — торжественно, с привычным пафосом, сказал профессор русской словесности С. П. Шевырев, признававшийся тогда корифеем эстетической критики и бывший соредактором Погодина в «Москвитянине», где впервые и напечатана была комедия "Свои люди — сочтемся!".

Этот восторженный, смело и громко высказанный возглас последовал тотчас же за тем, как сам автор прочел на вечере у М. П. Погодина свою комедию[34] и когда удалился (также слушавший ее) Н. В. Гоголь.[35]

"Комедия «Банкрот» удивительная! Ее прочел Садовский и автор", — поспешил записать по горячим следам в своем дневнике Погодин[36] с тою своеобразною краткостью, которой не изменил он даже в описаниях своего заграничного путешествия, давших случай остроумнейшему из русских писателей поместить в "Отечественных записках" ("Записки Вёдрина") блестящую пародию, где соблюден и грубо отрывистый стиль писания, и поразительные выводами приемы суждений.[37]

"От души радуюсь замечательному произведению и замечательному таланту, озарившим нашу немощность и наш застой, — писала Погодину графиня Евдокия Петровна Ростопчина, известная своею горячею преданностью интересам отечественной литературы. — Chaque chose et chaque oeuvre a les defauts et les qualites,[38] поэтому нельзя, чтобы немного грязного не примешалось в олицетворении типов, взятых живьем и целиком из общества".

Прослушавши комедию два раза, она прямо и кратко выразила свой неподдельный восторг от пьесы таким искренним возгласом в другом из своих писем:

"Ура! У нас рождается своя театральная литература!"

Ко мнению Ростопчиной присоединился и другой правдивый и признанный судья, поэт и публицист, стоявший во главе славянофильской партии. А. С. Хомяков, любивший и знавший русский народ теоретически, также одобрял пьесу и предсказывал: "Ученость дремлет, словесность пишет дребедень, за исключением комедии Островского, которая — превосходное

творение".

Графине А. Д. Блудовой он же писал: "Грустное явление эта комедия Островского, но она имеет свою утешительную сторону. Сильная сатира, резкая комедия свидетельствуют о внутренней жизни, которая когда-нибудь еще может устроиться в формах более изящных и благородных".

"В Островском признаю помазание!" — писал Иван Иванович Давыдов, бывший до 1847 года в Московском университете профессором словесности, а потом директором Санкт-Петербургского педагогического института. Он, впрочем, пожалел, верный началам теории по своему же сочинению "Чтение о словесности" (по изданию 1837–1838 гг.), — пожалел он о том, что автор написал драматическое сочинение, а не повесть: "Я назвал бы повесть прекрасною".

Отставного словесника поправил князь Владимир Федорович Одоевский. Сам большой художник-писатель, всею душой любивший литературу и фактически радевший об успехах изящных искусств (он, между прочим, одним из первых приласкал в Петербурге Горбунова и дружески сблизился с Писемским), — В. Ф. Одоевский ("Дедушко Ириней") писал своему приятелю, между прочим:

"Если это не минутная вспышка, не гриб, выдавившийся сам собою из земли, просоченной всякою гнилью, то этот человек есть талант огромный. Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», "Горе от ума", «Ревизор»; на «Банкроте» я поставил номер четвертый".

По напечатании комедии послышались Погодину со всех сторон поощрительные голоса тотчас же, как только вышла мартовская книжка «Москвитянина» 1850 года. Вскоре стало очевидным, что и коммерческая сторона дела стала улучшаться: вместо 500 подписчиков в течение того же года оказалось 1100, - прирост, судя по тем временам, изумительный и блестящий.

Не только в среде университетских студентов всех четырех факультетов новая комедия произвела сильное впечатление, но вся Москва заговорила о ней, начиная с высших слоев до захолустного Замоскворечья. Не только в городских трактирах нельзя было дождаться очереди, чтобы получить книжку «Москвитянина» рано утром и поздно вечером, но и в отдаленном трактире Грабостова у Чугунного моста (привлекавшего посетителей единственною в то время на всю Москву машиною с барабанами) мы получили книжку довольно измызганною. Ежедневно являлся какой-то досужий доброволец и вслух всем, дьячковским способом, прочитывал ее по нескольку раз в день за приличное угощение. Впрочем, каким бы то ни было путем, но

молва о том, что некоторый человек "пустил мараль" на все торгующее купечество, побрела по Москве, заглядывая в те торговые дома, где готовились совершить или успели уже проделать на практике "ловкое коленцо" банкротства. Добрела молва и до самой Тверской[39] по той причине, что очень многие обиделись, а влиятельные из купечества пошли даже жаловаться. Комедия не только не была допущена до сцены, но успела навлечь на автора некоторые неприятности. И эта пьеса обречена была на ту же участь — покоиться до радостного утра,[40] — какую испытали и две ее великие предшественницы: "Горе от ума" и «Ревизор». Невинный автор "взят был под сумление", как у него же выразился потом Любим Торцов. Из Петербурга последовал запрос, что такое Островский, и по получении надлежащих сведений его отдали под негласный надзор полиции.[41]

Это обстоятельство не помешало, однако ж, Островскому знакомить со своим классически художественным произведением интеллигентные кружки Москвы, начиная с артистического салона графини-поэтессы Е. П. Ростопчиной (в своем доме на Кудринской-Садовой) и кончая казенным и суровым кабинетом самого графа Закревского на Тверской. Наперерыв друг перед другом приглашали читать автора это и последующие его произведения почти ежедневно. Граф Закревский оказался наконец в числе его поклонников: на всех первых представлениях "Бедность не порок" и следующих пьес молодого сочинителя гладкая, как ладонь, голова графа неизбежно вырисовывалась в первых рядах кресел рядом со львиной головой, украшенной целою копной непослушной шевелюры, знаменитого кавказского героя генерала А. П. Ермолова. Этот, впрочем, Добровольно зачислил сам себя в поклонники собственно П. М. Садовского, которого очень любил. Артист проводил у опального генерала[42] целые вечера в его скромном и пустынном кабинете на Большой Никитской, всегда вдвоем и глаз на глаз.

Как бы то ни было, в залах гр. Закревского Островский не раз читал свои произведения, обе первые пьесы, и тут же услыхал оригинальное утешение из уст самого грозного и ревностного блюстителя за спокойствием умов столицы, когда пожаловался наш чтец вскользь о недоразумении, возникшем в Петербурге и вызвавшем полицейский надзор.

— Это вам делает больше чести! — лукаво отыгрывался властный старик почти накануне своего падения.

При вступлении на престол императора Александра II по всемилостивейшему манифесту полицейский надзор был снят, и явившийся в квартиру Островского местный квартальный надзиратель благодарил его и поздравлял с приятною новостью.

Благодарил за то, что освободил полицию поведением своим от излишних беспокойств и сохранил его, квартального, здравым и невредимым, а поздравлял словами, хорошо запечатлевшимися в памяти свидетелей этого посещения.

— Кажется, мы вас не беспокоили, — расшаркивался квартальный. — Мы доносили о вас как о благородном человеке. Не скрою, однако, что мне один раз была за вас нахлобучка.[43]

С 1850 года началась сразу определившаяся литературная известность А. Н. Островского, но лишь через три года удалось ему, тоже с первого разу, возобладать сценой с небывалым блеском, прочно укрепиться на ней и прославиться.

25 января 1853 года в Малом театре представлена была в первый раз комедия "Бедность не порок". Она не сходила затем со сцены во весь театральный сезон до первой недели великого поста, несмотря на то что высшие и интеллигентные слои московского общества увлекались в *то* время представлениями знаменитой Рашели, антрепренер которой вынужден был давать спектакли утром. Около того же времени объявлено было всенародно о разрыве дипломатических сношений с Англией и Францией, и наступило роковое время рекрутских наборов,[44] особенно тягостных тогда по тем приемам, которые грубо практиковались. Несмотря на хвастливые и задорные уверения в победе над врагами, выразившиеся и патриотическими стихотворениями, и такого же направления пьесами, и неудачным афоризмом, пообещавшим "закидать врагов шапками", недобрые предчуствия все-таки успели уже проникнуть в общественное сознание. Они обнаруживались тревожным настроением именно в той среде, которая была наиболее подготовлена и способна к пониманию и восприятию художественных красот. Тем не менее эти неожиданные события не помешали совершиться поразительному перевороту, наступлению новой эры в отечественном театре. <…>

Все согласились на том, что этот начинающий молодой писатель с первого же шага обогнал всех своих предшественников, что он явно встал плечо о плечо с самим Гоголем, что от него все вправе ожидать теперь заповедного и великого "нового слова" и проч.

На самой же сцене произошло нечто совершенно неожиданное и чрезвычайное. <…>

По настойчивому требованию публики в директорской ложе появился и сам главный виновник и руководитель небывалого торжества. Он предстал зардевшимся, как красная девушка, с потупленным взором и с тою застенчивостью, которая у него была чрезвычайно тонкой природы, не уверенный в том, что она может

нравиться и привлекать, и лишенный всякого самомнения и тщеславия. Островский всю жизнь не чувствовал себя особенно легко и свободно в присутствии чужих и имел обманчивый вид человека, не привычного бывать в обществе, а под призрачною суровостью, замечавшеюся на его лице, особенно когда он был задумчив, все-таки хранились постоянные источники беспредельной нежности.

На этом незабвенном празднике обручения нашего великого драматурга со сценою (и в таком счастливом представительстве) П. М. Садовский встал во весь рост своего огромного таланта. Вровень с ним уже не привелось наладиться никому: сам великий комик М. С. Щепкин попробовал было впоследствии свои силы в этой же роли Любима Торцова, но не имел никакого успеха.[45]

<…>

Будучи коренным и оставаясь постоянным жителем Москвы, где его все знали, горячо любили и искренно гордились им, он тем не менее каждым летом оставлял ее для милого и родного Приволжья.

В Кинешме надо переехать Волгу, чтобы попасть на проселочную дорогу, идущую на Галич, на тот довольно бойкий проезжий тракт, по которому в известные времена года возвращается из, столиц на побывку в родные деревни партиями рабочий люд, выходящий на отхожие промыслы из Галицкого, Чухломского и Кологривского уездов Костромской губернии. На восемнадцатой версте находится поворот влево и через версту по стоялому и хорошо сбереженному лесу дорога приводит к глубокой долине, на дне которой бежит речка с запрудой для мельницы, а на пологой горе противоположного берега высятся здания усадьбы Щелыкова, принадлежащей нашему знаменитому драматургу[46] вместе с братом Михаилом Николаевичем.

Местность, где расположено Щелыково, действительно одна из самых живописных. Ее пересекают три речки: первые две (Куекша и Сендега) быстрые в своем течении по оврагам, где они красиво извиваются и шумят, делая бесчисленные каскады. Мера — спокойная, сплавная река, текущая также в красивых берегах (на ней Александр Николаевич любил ловить рыбу неводом). Не было ни одного гостя в Щелыкове, который бы не восхищался его местоположением. Говорят, что отец братьев Островских, чувствуя приближение смерти, просил приподнять его с кровати, на которой кончался, чтобы дать ему возможность в последний раз взглянуть на окрестные виды, открывающиеся из окон дома.

В усадьбе имеется старый деревянный двухэтажный дом с огромным каменным скотным двором и каменным зданием кухни и прачешной с мезонином. В мезонине этом и в верхнем этаже старого дома находили приют приезжие гости. Всех чаще жил здесь актер Александрийского театра Фед. Алек. Бурдин с семьей, издавна находившийся в дружеских отношениях с Александром Николаевичем, пользовавшийся особенным его вниманием перед прочими и полным доверием. Редкое лето не навещали здесь Александра Николаевича кто-либо из литературных и театральных друзей, и всех чаще, конечно, И. Ф. Горбунов.

С балкона открывается не подлежащий описанию живописный вид на окрестности с речкой внизу горы и с красивой рисующейся среди зелени церковью Никольского погоста. После покупки братьями Островскими у своей мачехи Щелыкова Михаил Николаевич не в далеком расстоянии от старого дома выстроил собственно для себя небольшой деревянный домик, соединенный со старым березовой аллеей. В этом домике проживал Михаил Николаевич в редкие свои приезды в Щелыково, чтобы отдохнуть от нелегких и многосложных своих обязанностей по управлению министерством государственных имуществ. В верхнем же этаже этого домика Александр Николаевич постоянно занимался вырезными работами из дерева, которые он страстно любил и в которых был очень искусен. Вид из этого домика еще лучше, чем из старого дома.

По кончине Александра Николаевича брат его разбил и устроил обширный парк, идущий частью сосновым лесом по волнистой местности, частью лужками и полянками и наконец по берегу речки Куекши.

Мы видели Александра Николаевича среди этих красот природы здоровым и жизнерадостным. С необыкновенно ласковою улыбкою, которую никогда невозможно забыть и которою высказывалось полнейшее удовольствие доброю памятью и посещением, радушно встречал он приезжих и старался тотчас

же устроить их так, чтобы они чувствовали себя как дома. На деревенское угощение имелось достаточно запасов в погребе и на огороде, на котором сажалась и сеялась всякая редкая и нежная овощь и которым любил похвастаться сам владелец. У него, как у опытного и прославленного рыболова, что ни занос уды, то и клев рыбы — обычно щурят — в омуте речки перед мельничной запрудой, и в таком количестве при всякой ловле, что довольно было на целый ужин. Оставаясь таким же радушным и хлебосольным, как и в Москве, в деревне своей он казался упростившимся до детской наивности и полного довольства и благодушия. Несомненно, он отдохнул, повеселел и стал совершенно беззаботен, а чтобы не обратили ему это все в упрек и обвинение, то вот, когда открывается съезд мировых судей, он, в качестве почетного судьи, каждый месяц ездит в город Кинешму, да и вообще ее старается посещать: там у него есть где остановиться и с кем поговорить. А затем вот и газеты и журналы высылаются из Москвы: "Читаем, гуляем в своем лесу, ездим на Сендегу ловить рыбу, сбираем ягоды, ищем грибы". "Отправляемся в луг с самоваром — чай пьем. Соберем помочь; станем песни слушать; угощение жницам предоставим: все по предписанию врачей и на законном основании".[47] Богатырь в кабинете с пером в руках — в столовую к добрым гостям выходил настоящим ребенком, а семье всегда предъявлялась им сильная и глубокая любовь к домашнему очагу. В маленьком скромном хозяйстве, не дающем ни копейки дохода, ощущалась полная благодать для внутреннего довольства и для здоровья, которое начало сдавать: усилилось колотье в боках, увеличилась одышка; очень пугает сердце. В деревне меньше и реже приходится схватываться за грудь и жаловаться на боли, а по возвращении в город, конечно, опять начнется старая история и напомнят о себе застарелые недуги. В городе много работы; не стало отдыха.

— Надо освежить голову: потруднее какой-нибудь пасьянс разложить, — обычно говаривал А. Н. Островский, когда, достаточно поработав над отделкою сцен своих драм и комедий и довольный работой, желал отрешиться от нее и отдохнуть.

Он, по издавна усвоенной привычке, когда приготовлялся что-либо писать, то долго, до утомления, расхаживал по комнате, то раскладывал легкие пасьянсы. Знал он тех и других способов подбора карт очень много: трудно было кому-либо показать ему неизвестные. Он не покидал этого стариковского развлечения, столь удачно приспособляемого в досужее время на случаи воспоминаний о прожитом, — не покидал и в молодые годы, когда создавал лучшие свои произведения, прибегая к нему даже и в те дни, когда начал письменную работу.

Писать предпочитал Александр Николаевич по ночам, по крайней мере в первое время своей литературной деятельности, пользуясь теми тихими и молчаливыми, какими славятся и красятся все московские захолустья, а в том числе и воробинское. Обыватели очень рано, по крайней мере не позднее соседней Таганки, и всегда в урочный час, как по команде, засыпали мертвым сном. В соседних Серебряных банях усталый до изнеможения дежурный банщик бросал на каменку последнюю шайку, и вода не только не вылетала паром, но и не шипела. Будочник Николай, живший прямо перед окнами, приставлял алебарду к двери, приседал на пороге и, уткнувши голову в колени, также засыпал до утра. Московский день кончался, и для писателя, счастливого необычайными успехами, и для человека, доступного всем и приветливого, беспокойный день оставался назади и с приятными, и с докучными посещениями, которые особенно учащались после каждого представления новой пьесы его на сцене.

По свойству прирожденного характера делать все не спеша, вдумчиво и основательно, Александр Николаевич обыкновенно писал долго, допуская большие перерывы. Так, например, над «Банкротом» ("Свои люди — сочтемся!") он работал свыше четырех лет, несмотря на то что писал уже умелою и привычною рукой после сцен и очерков Замоскворечья и особенно после "Картины семейного счастья", которая произвела сильное впечатление на Гоголя.[48] Писал Островский разгонистым и крупным, четким почерком, круглые буквы которого напоминали неуверенный женский, что приводило в некоторое недоумение Тургенева, одно время увлекавшегося мимоходно возможностью по внешним характерным признакам автографов определять не только состояние духа в данный момент писания, но и вообще душевные прирожденные качества писавшего лица. Впрочем, то было время орешковых чернил и гусиных перьев. Для чиненья их продавались в лавках особые машинки, а в департаментах и палатах имелись особые чиновники, изготовлявшие для начальства этого рода изделия.[49]

Несмотря, однако ж, на поразительную разборчивость своих рукописей, Островский все произведения отдавал переписывать в другие руки по нескольку раз. От этого удовольствия не отказывались ближайшие друзья автора (как, например, Т. И. Филиппов и А. А. Григорьев), и оно же И. Ф. Горбунову, тогда еще неизвестному, но уже до обожания увлекшемуся красотами произведений нового писателя, облегчило возможность найти к нему доступ, удостоиться внимания и знакомства и затем на всю последующую жизнь сделаться неразлучным спутником и самым

преданным другом. Горбунов, например, пять раз переписал драму "Не так живи, как хочется". Эта народная драма, между прочим, служит показателем того, что плана, предназначенного, законченного, Александр Николаевич не записывал, полагаясь на свою необыкновенную память.[50] Он подчинялся тому влечению творческого духа, когда завязка и развязка были на втором плане, а фабула зависела уже от характера задуманных и выношенных действующих лиц. Писал эту драму, "взятую из народных рассказов" о событии конца прошлого века, под влиянием настроения кружка, где песня народная была "главною силой, которая постепенно слагала, вырабатывала и выясняла основы миросозерцания молодых друзей".[51] Писал ее Островский долго, гораздо медленнее прочих, может быть, также и потому, что принялся за нее несколько поистратившимся и, во всяком случае, очень усталым, — принялся тотчас же после последней пьесы ("Бедность не порок") из прочих трех, уже игранных на сцене ("Бедная невеста" и "Не в свои сани не садись"). <…>

Драма "Не так живи, как хочется" к осени 1854 года была готова, и автор в первый раз прочитал ее кружку у себя на дому, следуя издавна установившемуся обычаю доставлять полное эстетическое удовольствие слушателям своим мастерским, несравненным чтением, искать у компетентных судей: от товарищей по перу — советов при случаях нарушения строгого художественного строя цельного произведения, от артистов — указаний практических при уклонениях от требований сцены. Наибольшим доверием у автора между теми и другими оценщиками пользовались: Филиппов, Эдельсон, Садовский и Ап. Григорьев.

Эдельсон, по словам одного из близких друзей и деятельных членов кружка (Т. И. Филиппова), "отличался полною самостоятельностью мысли, весьма тонким художественным чувством и замечательно изящным изложением. Тон был всегда спокоен и в высшей степени деликатен. Спокойствие и невозмутимое приличие его тона истекали из глубокого уважения к достоинству литературы".[52]

Садовский, сблизившийся с автором еще в 1849 году, по мнению того же компетентного оценщика, был таким исполнителем типов, созданных Островским, каких можно видеть только во сне. "Этот писатель и этот актер были буквально созданы друг для друга и представляли собою идеальное сочетание".[53]

Ап. Ал. Григорьев, до фанатизма увлекавшийся Островским, прослушал все его художественные создания по нескольку раз с неустанным и неослабевшим интересом. Если в это время он не

успел подсказать руководящих мотивов, зато умел придать энергии в работе и уверенности в силах своими толкованиями места и значения уже созданных и вылившихся в образы художественных типов. Григорьев, во всяком случае, своими критическими этюдами сделал свое имя, в свою очередь, неразрывным и неотделимым от имени Островского.[54]

Конечно, от этих четырех-пяти получал искренние советы и пользовался неподкупною любовью наш знаменитый писатель, — конечно, единственно от них, а не от надутого Шевырева, чопорного и не в меру строгого Погодина. Такому художнику от этих нечем было поживиться, хотя пред ними раньше других ему довелось впервые обнаружить во всю силу свой необыкновенный талант и поразить их всех обаянием новизны и изумительного мастерства как в отделке фабул, так и в процессе чтения.

3-го декабря 1849 года Островский прочел «Банкрота» у Погодина (попеременно с Садовским), и затем всю зиму читал эту пьесу то у гр. Ростопчиной, то у кн. Мещерских, у Пановой, у Шереметевых, у Каткова, и везде производил необыкновенное впечатление, — читал чуть не каждый день — и быстро разнеслась его слава по Москве. <…>

В марте 1850 года комедия, через четыре месяца, была напечатана в «Москвитянине», упрямо и настойчиво запаздывавшем выходом своих книжек, и с этого времени началась всероссийская известность нового таланта. Особенно быстро распространилась она по Москве, когда узнали там, что пьеса запрещена для представления на сцене и сам автор отдан под надзор полиции. Воспользовавшись случаем сказать об этом в прежних статьях своих,[55] в настоящее время имею возможность сделать дополнение и разъяснение, основанные на свидетельстве лица, близко стоявшего к делу.

Попечитель московского учебного округа (потом генерал-губернатор Северо-Западного края, некогда сопровождавший в путешествии по России, вместе с поэтом Жуковским, царя-освободителя Александра II, бывшего наследником цесаревичем), Влад. Ив. Назимов как начальник московской цензуры предварительно прочел «Банкрота» графу Закревскому. Однако "негласный комитет" из Петербурга обратил внимание министра просвещения графа Уварова (ведавшего всю цензуру), а этот, в свою очередь, Назимова, поручивши ему сделать некоторое вразумление автору, что цель таланта не только в живом изображении смешного и дурного, но и в справедливом его порицании, в противопоставлении пороку добродетели, чтобы злодеяние находило достойную кару "еще на земле". Назимову Александр Николаевич с обычною помощию и по совету

ближайших друзей отвечал письмом, исполненным достоинства. Между прочим, он сказал: "Твердо убежден, что всякий талант налагает обязанности, которые честно и прилежно должен исполнять человек, — я не смел оставаться в бездействии. Будет час, когда спросится у каждого: "Где талант твой?".[56]

Впрочем, столь важная неудача на первых шагах, очень чувствительная также и в материальном отношении, не произвела, как известно, глубокого влияния на впечатлительного автора, сумевшего весьма вскоре оправиться от внезапного и сильного удара, побороть в себе естественные и неприятные ощущения острастки, исходившей издалека и свысока. Первым же порывом осмелевшего духа он направил свой путь к предопределенной цели. За "Бедною невестой" последовали комедии "Не в свои сани не садись", за нею и "Бедность не порок", которые в одно и то же время развеяли прахом гнусные клеветы литературных недоброжелателей, бесплодно искавших в первой комедии плагиата,[57] и поставили на чрезвычайную небывалую высоту нашу родную (выражаясь словами восторженной гр. Ростопчиной) "театральную литературу". <…> Совершилось нарождение народного театра и тотчас за ним коренное обновление старого с первого же почина на знаменитом московском. <…>

Никогда и ни один из русских театров не достигал такой высоты совершенства и влияния, до какой поднялся к середине девятнадцатого столетия московский театр. Произошло это благодаря необыкновенно счастливому соединению разнообразных талантливых сил, создавших известные традиции, живые и действительные там и в наши дни, и выразилось в том, что все роды драматических произведений находили себе первоклассных исполнителей. Гениальный трагик Мочалов, увлекавший своею игрою до чрезвычайных восторгов самую требовательную публику, донашивал на своих могучих плечах классическую трагедию и драму. Высокая комедия также властительно пользовалась своими законными правами и блистательно отвоевывала их с такими вождями, как Грибоедов и Гоголь, и таким пособником, как М. С. Щепкин, звезда которого к тому времени, когда выступил Островский, еще блистала ярким светом. Под особой защитой высокой комедии укрылся и ужился ветреный весельчак, безобидный остряк и бесстрастный потешник, привозный гость — водевиль, счастливее и богаче всех прочих заручившийся поклонниками и защитниками. При таких условиях сцена, угождая репертуаром решительно всякому вкусу, а при подобных исполнителях самому требовательному, возобладала небывалым влиянием на общество богатой и

купеческой Москвы. Такого влияния в равной степени нельзя наблюдать ни в каком другом городе, хотя бы также университетском и также торговом.

Мочалову (едва ли не из первых) довелось убедиться, насколько существенно это влияние сцены и деятельна связь, незримо, но прочно закрепляемая ею с зрителями. Во всяком случае, он первым в счастливом избытке воспользовался результатами влияния своей потрясающей нервы игры на простых людей, не тронутых образованием, и тотчас же, как только они возымели решимость выйти в театральную залу из затворов Замоскворечья, оберегавшихся дубовыми воротами и злыми цепными собаками. Увлечение Мочаловым в наибольших размерах проявилось именно в этой среде, нуждавшейся в сильных наркотических средствах для подъема душевной энергии, ежедневно ослабляемой мелкими заботами будничной жизни, направленной исключительно к наживе и сосредоточенной на денежном барыше и имущественной прибыли. В то время, когда художественная, тонкая в отделке, игра Щепкина в высоких комедиях была здесь менее внятною, чем в интеллигентных столичных слоях, — у Мочалова была благодарная, восприимчивая и им же самим взрыхленная почва в средних классах. <…>

Затем после Мочалова надо было явиться Островскому с народными драмами и комедиями, чтобы, смягчив и уничтожив кое-какие противоречия и недоразумения, разом повернуть симпатии Москвы в другую сторону, остановить их на новом месте и здесь навсегда закрепить.

Благодаря Островскому сцена сделалась в общественном мнении своею, родною, "нашей московской". Театр из храма увеселений превратился в школу, и в ней совершилось неожиданное чудо. Автор, проникший во все тайны темного царства и выставивший их на всеобщий суд и осуждение, — и артист,[58] одухотворявший с равным искусством и очевидною правдой и крикливый порок, и молчаливую добродетель, сделались излюбленными друзьями этих самых героев комедий. Уважение обоим великим художникам оказывалось всюду и всеми также великое. Они сделались дорогими гостями. За высокую честь стали считать их внимание и посещения; к их речам с восторгом и благоговением прислушивались. И сотворила такие чудеса художественная правда, выведенная на сцену не только в среде образованных из купечества, успевшего зачислиться в интеллигенцию, но и среди тех «диких», избалованных достатком самодуров, которых особенно не щадил автор, и в них действительно еще не кончилась борьба темного злого духа с

добрым началом. И эти в одинаковой степени широко растворяли двери своих крепко запертых домов прямо в гостиные комнаты с аляповатою мебелью старых рисунков, с застоявшимся затхлым запахом забытых покоев, которые только что перед приходом дорогих гостей были подметены и проветрены, а открывались и освещались лишь на такие исключительные случаи.

Степень нравственного влияния произведений Островского на публику в главном выдающемся сословном представительстве ее жителей, с самых первых пьес, сделалась настолько очевидной, что не нуждается в примерах и доказательствах. Особенно сильное возбуждающее впечатление на «купеческую» Москву произвела драма "Бедность не порок", с 25 января 1854 года до последнего дня масленицы не сходившая со сцены. И все это, между тем, происходило в то тяжелое время, когда помрачился политический горизонт и до патриотической русской столицы, хотя и медленно и в искаженном, по обычаю, виде, доходили недобрые вести о севастопольском погроме. <…>

Сверх купеческих домов, куда нарасхват приглашались наш драматург и его толкователь,[59] компания Островского любила посещать по субботам веселые и разнообразные вечера Булгакова, — не Павла, бросившего на сцену кошку вместо букета петербургской танцовщице Андреяновой, а другого брата — Константина Александровича. У этого все друзья Островского были своими людьми, умело соединенные в такую беседу, подобной которой не было, конечно, во всей Москве благодаря тому, что и сам хозяин не был заурядным человеком. Он был отлично образован и даровит: прекрасно рисовал, мастерски играл на рояли и под аккомпанемент ее без голоса умел обаятельно передавать суть глинкинских романсов. Сверх всего, владел он необыкновенно добрым сердцем.

Посетители булгаковских вечеров на Дмитровке в доме Щученка, куда Константин Александрович перебрался по смерти отца, назывались «субботниками». Заведена была книга-альбом, в который каждый из посетителей обязан был при поступлении собственноручно вписывать свою фамилию. Кн. П. А. Вяземский, при проездах через Москву бывавший у Булгакова, значится в числе субботников, и в альбоме имеются его стихотворения. Вообще, стихов было много, в особенности Б. Н. Алмазова. А. Н. Островский также охотливо вместе с друзьями посещал эти собрания и, следуя общему закону кружка, внес и свою лепту, и, по примеру большинства, также стихотворную — "К ней" или "О ней", но, во всяком случае, вызванную молодым настроением в пору развлечений и любви. Хотя, благодаря внешней форме, стихи могли быть прочитаны при посторонних свидетелях, но в

них все-таки скрывалось истинное увлечение влюбленного, и стихотворение предъявлено было в виде признания, но искусно замаскированного шуткой. Свидетелями были обычные посетители вечеров: чуть не ежедневный Садовский, Мих. Ник. Лонгинов, скульптор Рамазанов, музыкант-композитор Дютш, остроумный Б. Н. Алмазов и отставной актер Максин, служивший большим утешением и развлечением общества. Он иногда среди оживленного разговора задавал вопросы, совершенно не вытекающие из темы бесед, и вставлял замечания, вызывавшие общую веселость, а временами даже и неприятную досаду. При таком-то вмешательстве Максина, когда он, по привычке, усвоенной на сцене, встал в важную позу и сделал серьезную мину, являя из себя вид знатока, прочитал А. Н. Островский свое стихотворение:

Снилась мне большая зала,
Светом облита,
И толпа под звуки бала
Пол паркетный колебала,
Пляской занята.

— Прекрасно! — воскликнул Максин. — Живая картина!

У дверей — официанты
И хозяин сам.
И гуляют гордо франты,
И сверкают бриллианты
И глаза у дам.

— Необыкновенная поэтическая картина! Ну-с! — не отставал Максин.
— Да не мешайте, Петр Алексеич!
— Я не мешаю: я преклоняюсь перед поэтом.
Воздух ароматно-душен,
Легким тяжело.
К атмосфере равнодушен,
Женский пол совсем воздушен
И одет голо…
— Да! К сожалению, в нашем великосветском обществе дамы одеваются…
— Ах, Петр Алексеевич!
— Молчу!
И отважно и небрежно

Юноши глядят.
И за дочками прилежно,
Проницательно и нежно
Маменьки глядят.
Всюду блеск, кенкеты, свечи,
Шумный разговор,
Полувзгляды, полуречи,
Беломраморные плечи
И бряцанье шпор.
Вальс в купчихах неуместно
Будит жар в крови.
Душно, весело и тесно,
Кавалеры повсеместно
Ищут визави.

— Виноват, я думал, что это в великосветском обществе, — не переставал Максин, говоря все тем же напыщенным тоном голоса, к какому привык на сцене, играя в трагедиях.

Вот меж всех красавиц бала
Краше всех одна.
Вижу я, что погибало
От нее сердец немало,
Но грустна она.
Для нее толпа пирует
И сияет бал, —
А она неглижирует,
Что ее ангажирует
Чуть не генерал.
— Превосходно!
— Да отстаньте, Петр Алексеич!

Чтение прерывается. Стихотворение полностью вносится в альбом Булгакова, как в протокол веселого заседания.

Гений дум ее объемлет,
И молчат уста.
И она так сладко дремлет,
И душой послушной внемлет,
Что поет мечта.
Как все пусто! То ли дело, —
Как в ночной тиши
Милый друг с улыбкой смелой

Скажет в зале опустелой
Слово от души.
Снятся ей другие речи…
Двор покрыла мгла…
И, накинув шаль на плечи,
Для давно желанной встречи
В сад пошла она.

. . . .

Следом за этим стихотворением Щепкин собственноручно вписывает стихотворение Пушкина «Полководец». Он также читал его и здесь, как равно и любимое стихотворение про Жакартов станок,[60] которым он всегда занимал публику на благотворительных концертах и литературно-драматических вечерах. Это, как известно, дало повод Б. Алмазову сказать в одном из стихотворений:[61]

И Щепкин не раз про Жакартов станок
Рассказывал нам со слезами,
И сам я от слез удержаться не мог,
И плакали Корши все с нами.[62][63]

"Она" стихотворения Островского и его увлекшегося сердца принадлежала к интеллигентной семье, и в комедии, по толкованию его живых комментаторов, оказалась в семье небогатого чиновника под именем Марьи Андреевны. Находилась «она» в очень схожих условиях жизни, как и дочь вдовы Незабудкиной.[64] Вообще на "Бедную невесту" будущим комментаторам придется обратить особое внимание, тем более что это одна из самых ранних пьес писалась под впечатлением ближайшей среды, когда горизонт мировоззрений автора еще не развернулся в полную мощь и сумма наблюдений не была еще настолько богата, как впоследствии. При обобщении характерных черт действующих лиц комедии свободно и естественно могли подвернуться те, которые присущи некоторым друзьям автора, может быть, из его же кружка, как, например, Милашин, и, кроме того, конечно, случайные знакомцы, хотя бы по кратковременной службе автора в одном из московских присутственных мест (каковы старый стряпчий Добротворский и служащий чиновник Максимка Беневоленский).[65] В Хорькова вложены те общие субъективные черты, которые присущи робким и бесхарактерным людям коренного русского склада, ударяющимся при роковых неудачах в загул, но вовсе нет надобности искать здесь какого-то

ответа коварной изменнице от страстно влюбленного и отвергнутого поклонника. Могло пройти и это событие живым и вчерашним на зорких глазах юного и впечатлительного автора. Конечно, и его исключительному темпераменту, как избранника, не только не меньше, но в значительной степени в более крупных дозах отпущено было запаса нежных чувств для проявления их, как законной дани молодости. Затем всесильная мода на альбомы и всемогущий обычай свидетельствовать свои влюбленные чувствования стихами известных поэтов, а того лучше собственного сочинения, соблазнили и молодого драматурга нашего. И он не избег общей участи: к нему, конечно, также предъявлялись эти требования в ту пору, когда романтическое настроение еще не искоренилось и замоскворецкие девы поглядывали на луну и задумывались над пылающими сердцами, зарисованными в их альбомы. Молодой Островский представлял из себя стройного юношу, одетого щеголевато, а по получении первой платы от Погодина за "Свои люди" даже по последней парижской моде. Он пел романсы, и пел превосходно, очень мелодичным тенором, как свидетельствовала в печати одна из знакомых его в этой ранней молодости.[66] С годами он начал полнеть, приобретал солидную посадку и перестал в довольной мере напоминать собою то время, когда он был еще начинающим писателем.[67] А так как в то же время он становился великим, то долг наш, обязывающий сохранять в памяти все то живое, чем высказывался его устанавливающийся характер, невольно понуждает кстати и к слову привести нижеследующий акростих, написанный в скромном и теперь уже потерянном альбоме:

Зачем мне не дан дар поэта,
Его и краски и мечты?
Нашлась нужда теперь на это.
Аврору, майские цветы
И все на свете красоты
Давно бы описал я смело,
А вас писать — другое дело.

Рядом со стихотворными шутками, облегченными знанием родного языка и его форм, доведенным, можно сказать, до виртуозности, у Островского шло прислужливое изучение неизвестных еще приемов в живой речи и усыновление их при помощи сцены в литературном языке. Опыты, как известно, оказались настолько удачными, что многие слова и выражения получили права гражданства и некоторые из них узаконены как новые пословицы или уличные поговорки. Родную речь он любил

до обожания, и ничем нельзя было больше порадовать его, как сообщением нового слова или не слыханного им такого выражения, в которых рисовался новый порядок живых образов или за которыми скрывался неизвестный цикл новых идей. Это привело его к серьезной работе составления особого словаря с своеобразным толкованием, которая, конечно, за недосугом не могла быть доведена до конца. Тем не менее наследникам автора представилась возможность дать второму отделению Академии наук ценный подарок в образчиках, которые удалось набросать Островскому в черняках его посмертных рукописей.[68]

Много слов, взятых из его произведений, прошло в обиход, и досужливому наблюдателю нетрудно будет выделить их и занести, как новость и особенность, в словарь, подобно словам "метеорское звание", «доказать», "патриот своего отечества", "черты из жизни" (на красных носах невоздержных гуляк) и проч., за которыми скрываются цельные представления и картины, обрисовываются оригинальные характеры и живые типы.[69] Все, имевшие случаи слушать его беседы и принимать в них участие, не откажутся подтвердить, какую массу метких замечаний разбросал он бесследно с легкостью богатого и расточительного владельца.

Глубина наблюдений всегда являлась первою на глаза и вела к прямому убеждению, насколько богато одарена была эта талантливая натура, которой, однако, не помирволила судьба. Богатой природе не дано было настоящего образования в строгом смысле этого слова, по зависимости от обстоятельств того сурового времени, когда начал расти и развиваться самобытный и природный талант. Ему не удалось сделаться специалистом, пригодным на государственную службу, так называемым "сих дел мастером", но та же университетская неудача[70] не помешала найти путь к истинному призванию. Немногим удавалось выбиваться из навязанной или вынужденной колеи и за свой счет попасть на прямую дорогу при чрезмерных усилиях. Я уже имел случаи указывать на резкие и выдающиеся примеры, подтверждающие мою мысль, и теперь, при занесении в этот список Островского, тем не менее не приходится считать это общеевропейское явление коренным русским. В самом же виновнике недовольство собой и эта досада на вынужденное несовершенство было довольно глубоко и искусно скрыто. Въяве это могло проявляться (и то лишь отчасти) в той хвастливости, которую засчитывали Александру Николаевичу, — явный недостаток, правду сказать, резко бросавшийся в глаза. В сущности же, неудержимое стремление прихвастнуть собой и повеличаться небывалыми и даже невозможными в его

положении качествами и достоинствами всего вернее следует отнести ко времени выхода из незаметного положения в общественной среде и к той забалованной привычке, от которой отставать ему не хотелось, а окружающие усиленно не дозволяли. Привычка эта, конечно, приобретена была им главнейшим образом в ту пору, когда ранние успехи и тотчас следовавшая за ними слава захватили его в молодых летах неустоявшимся. Не было опыта жизни и достаточных сил удержаться от угара, чтоб ослабить охмеляющий наплыв лести и слепого повсюдного поклонения. Эта хвастливость не была, однако, продуктом отталкивающего чванства или гордого самомнения. Она носила самый невинный характер, доходивший нередко до забавных крайностей в тех случаях, когда в виду чужих действительных заслуг на него быстро нападал каприз равняться и даже попервенствовать на словах, как бы из боязни остаться на задах в обидном положении неумелого или неспособного. Зато если кто из людей, к нему близких, проявил известное признанное за ним дарование, то в глазах и на словах Островского не было уже человека лучшего и высшего. Привязанность здесь была искренняя и прочная, и даже не без крайности и увлечения. Личная же похвальба во всяком случае являлась не только странною, но и совершенно ненужною даже и в то время. Все, что успел Островский сделать в своей трудовой литературной жизни, произведено было им с образцовым и изумительным совершенством, и Александру Николаевичу некому было завидовать. <…>

Живо вспоминается теперь чтение А. Н. Островского в одном из купеческих домов за Москвой-рекой, на Полянке, куда привез меня П. М. Садовский, бывший в этой семье своим человеком. Чтение назначено было утром с двенадцати часов в уважение болезни хозяина, которого Островский очень любил, но которого доктора засадили дома и не позволяли засиживаться по вечерам. Больному хотелось послушать «Воеводу», о котором он слышал как о пьесе очень давно задуманной, а теперь вот узнал, что она наконец написана.

Уже по рысакам у подъезда можно было предположить, что хозяин вознамерился слушать не по-домашнему, запросто, а в большом собрании и с некоторою торжественностью, в праздничной обстановке. Два официанта в нитяных перчатках, встретившие нас в передней, эту догадку подкрепили. <…>

Вся толпившаяся около дверей залы и в гостиной публика зашевелилась, освобождая дорожку и устанавливаясь стенкой. Устроилось это совершенно так, как делалось при соборном служении, когда суровый и строгий митрополит Филарет входил

в Успенский собор и его также ждали и встречали такими же поясными поклонами, и, кажется, даже с опущенными глазами встретили и Александра Николаевича, который вошел своей медленной походкой с разлитой на лице добродушной и приветливой улыбкой. В руках у него была листовая в переплете тетрадь. Он положил ее на круглый стол, когда сам уселся на диване, а слушатели разместились на тяжелых стульях с выгнутыми спинками, обитых скользкою волосяною материей.

Началось чтение мелодичным голосом, чистым и светлым баритоном, когда ни одно фальшивое ударение не дерзает оскорблять слуха, как случается теперь зачастую на петербургских литературных чтениях.[71] При чтении вслух Александр Николаевич выработал особенную манеру, отличительную от других мастеров в этом роде, каковы его друзья, именно Писемский и Ал. Ант. Потехин. Читал он очень медленно и спокойно, как бы сам прислушивался к звукам своего ровного голоса и каждую отдельную, тщательно отделанную фразу, пользуясь этим благоприятным случаем, еще раз взвешивал и оценил. "Сон на Волге" стал оживать в картинной яви, когда у ворот воеводского дома заговорила толпа, раздались крики бирюча и полились затем ворчливые речи измученных воеводскими неправдами посадских из лучших людей. С постепенностью, с какою он вводил всех в интересы действующих лиц, навевал он на слушателей то же душевное настроение, каким, несомненно, и сам был проникнут.

Невозможно было разобраться, что здесь лучше: прелестный ли стихотворный размер или превосходное чтение. Явно чувствовалось одно, что автор перенес нас в такое далекое время, когда одна за другою восстают новые картины, как живые, хотя не виданные и не слыханные: свободные речи недовольных; площадной шут, дерзающий обличать грозного воеводу, и сам он, немилостивый, отбивающийся от жалоб и нападок лукавыми речами всенародно, на городской площади и на ступенях собора, и т. д.

Читал это автор при таком гробовом молчании, которое ясно доказывало, что слушатели, как бы сговорившись заранее между собою, решились ему показать, что они умеют благоговейно слушать, что недаром приучала их к такому способу игра сценических мастеров, каковы Щепкин и Садовский, что они всецело отдались автору, верят всему, что он скажет, и по мере разумения и по силе чувствований наслаждаются. "Вот этакого разумного человека народил господь и послал в нашу матушку-Москву: слушает она его теперь и не может вдоволь наслушаться. То всем дорого и лестно, что наш он, батюшка, наш".

Много раз потом слушал я чтение Островского в ежегодные осенние и зимние приезды в Петербург (в квартире брата, у актера Бурдина, у Некрасова, и проч.), но такой свободной манеры, непринужденной до изящного, и художественной простоты я уже не слыхал (читывал он и стихотворения). Казалось тогда, что будто слушаешь оперу, построенную на новых мотивах, словно древних лет Баян воскрес и вновь вдохновился.

И речи из уст его вещих сладчайшие меда лилися.

Прочитал Александр Николаевич пролог «Воеводы» за один дух и когда откинулся на спинку дивана, прося позволения отдохнуть, — всеобщее молчание не нарушалось.

Отдыхал автор не долго. Не скрылось от нас, что он сам увлекся чтением и желает его продолжать перед такими охотливыми и благодарными слушателями. Он прочитал затем самый «Сон». Когда дошел до хвалебного стиха Волге, вложенного в уста недруга воеводы, и прочитал его с поразительною простотой и в увлекательно мягких тонах, совершенно непохожих на общепринятые прочими поэтами, — в чрезмерно приподнятых тонах до неестественной торжественности, — в среде простодушных, но тем не менее восприимчивых слушателей, началось неожиданное движение. Один глубоко вздохнул на всю комнату и этим как будто подал сигнал, чтобы и прочие несколько пришли в себя, оживились и приободрились. У хозяина навернулись слезы, хотя он и старался скрыть их от чтеца, но это ему не удалось: Александр Николаевич прекратил чтение, посвятивши ему времени около часу. Когда вышел он из-за круглого стола и все поднялись с мест, всеобщее молчание еще некоторое время продолжалось, словно не застыли еще в воздухе и носились в нем нежные слова привета, лаская слух и окрыляя мысли:

> Кормилица ты наша, мать родная!
> Ты нас поишь, и кормишь, и лелеешь!
> Челом тебе! Катись до синя моря!..

Один из слушателей простодушно признавался мне:

— Ну, чего тут толковать и о чем еще разговаривать? Не хвалить звали — слушать. Неумелою похвалой, — да ежели она невпопад окажется, — можно обидеть. Верно, как говорили, что лучше нельзя и никто так не может. Вон и Пров Михайлыч — на что уж умен и сам доточлив, а и тот молчал: тоже замер. <…>

Литературные чтения с легкой руки Островского и его ближайших друзей пришлись по вкусу публике и вошли в моду: Островский, Писемский и Потехин начали их в Москве в частных

домах купеческих и аристократических и, конечно, бесплатными, исключительно в интересах личного творчества. Впоследствии литературные утра и вечера сделались платными, всегда с благотворительной целью. С переходом на эстрады общественных и клубных зал чтения в глазах публики получили сначала тот существенный интерес, что можно было видеть вживе и въяве доселе незримых виновников наслаждений эстетических и художественных, вглядеться в их облик, из уст самих услышать их произведения, а по пути и кстати общепринятыми знаками доказать им свою признательность и за доставленные удовольствия, и за поучения. Чтения во фраках сделались нового вида театральными увеселениями.

Если бы возник вопрос: который из трех московских основателей литературных чтений был лучшим? — пришлось бы ответить обычным детским способом. Каждый внес свою монету, и все пользовались одинаковым успехом с наддачею лишних восторгов в сторону которого-либо из них в исключительных случаях подъема духа публики и вследствие какого-либо особого, временного, ее настроения. Вообще прием в публичных чтениях, усвоенный, например, Алек. Ант. Потехиным, выделялся наибольшею горячностью по сравнению с двумя остальными, но у него, как равно и у Писемского, слушатели чувствовали живых лиц с оттенками их голоса и манеры, а для артистов имелись намеченными и готовыми такие штрихи, которые достаточно облегчали путь и способы к созданию полных и правдивых типов. Писемский сам был превосходным актером и замечательным рассказчиком, чего недоставало двум другим и в особенности Островскому. Последний пробовал участвовать в своих пьесах на домашних сценах, но лишь превосходно читал избранную роль и совсем не играл, не был действующим лицом, а лишь посторонним участником и как бы обязательным свидетелем игры прочих. Многим еще памятно одно из таких представлений в квартире, его шурина[72] (сначала в Запасном дворце у Красных ворот, потом в казенной квартире в Кремле). Автор превосходно читал свою роль, но все время не спускал глаз с Садовского, который, в числе прочих артистов, избранных и приглашенных на спектакль, сидел между зрителями. Этот странный прием, и притом примененный во все время действия с изумительным упорством, вынудил настоящего артиста сделать в антракте актеру-автору такое замечание:

— Зачем вы на меня смотрите? Ведь я могу сейчас уйти из кресел, чтобы не мешать вам "играть".

Островский всеми помыслами, можно даже сказать — всем существом своим до того был предан интересам сцены и ревнив к

ее успехам до мелочи, что потом еще не один раз пробовал испытывать на ней свои силы, но всякий раз (например, в доме Пановой в роли Маломальского) не пользовался удачами. Не удались ему роль Подхалюзина и другие в собственных пьесах, из которых игрались преимущественно еще не допущенные в то время на сцену, как "Свои люди" и "Доходное место". Зато Писемский чтением своим (в особенности "Горькой судьбины") развертывал движение целой драмы в мельчайших оттенках характеров каждого из действующих лиц так, как должно быть на театральной сцене и совершенно, и безобманно, именно в таком виде, как оно разыгралось бы и в жизни крепостной деревни и барской усадьбы. <…>

Островский был неизмеримо счастлив тем, что около всех, без исключения, им написанных произведений образовались целые самостоятельные труппы артистов, а на образцовом московском театре наш автор имел, в видах исключения для одного себя, выдающуюся удачу обойтись на первое горячее время без помощи таких сил, каковы: громадная — Щепкина и весьма значительные и внушительные — Шуйского и Самарина, первого — ярко выступавшего в водевилях и комедиях, а второго — в комедиях и драмах. И кто бы мог поверить, что эти три артиста были закулисными недоброжелателями нашего знаменитого драматурга: Михаил Семенович — довольно открытым,[73] Сергей Васильевич — из подражания ему, как своему покровителю, а Иван Васильевич, в то время не успевший вполне установиться на своих ногах, — в роли нейтрального, но с приметным наклоном в сторону театрального ветерана. Об этом обстоятельстве необходимо сказать несколько слов в интересах правды и полноты воспоминаний.

Во время расцвета творческого таланта Островского известная борьба славянофилов с западниками была в полном разгаре, в особенности когда первым удалось основать свой орган "Русская беседа" и в нем укрепиться с большею последовательностью и независимостью, чем до тех пор в погодинском органе «Москвитянине» и в отдельных сборниках. Во главе так называемых «западников» стояли тогда молодые профессора университета: Грановский, Кавелин, Кудрявцев, Катков и др.[74] Когда Островский напечатал свою превосходную первую комедию "Свои люди — сочтемся!" в «Москвитянине», западники легким, скороспелым способом только по одному этому обстоятельству зачислили его в ряды славянофилов. Когда же около погодинского журнала определительно сгруппировалась так называемая "молодая редакция", — западники еще тверже укрепились в своем ошибочном предположении.

Островский на самом деле мог оставаться еще под некоторым сомнением, если бы западники взяли труд поверить себя хотя бы явными фактами. Оказалось бы, что с славянофилами он тесно не сближался, хотя в то же время не искал знакомства и с их противниками. Однако на приглашение Каткова охотно отозвался и читал у него свою первую пьесу прежде многих других, и едва ли даже не у первого. Салон графини Салияс, писавшей под псевдонимом Евгения Тур (составленным из обратно переставленных слогов фамилии Тургенева), посещаемый исключительно западниками, Островский изредка навещал, хотя все его товарищи по редакции того намеренно избегали, боясь именно встречи с крайними западниками (и через это попали под их гнев). Их могло еще вводить в сомнение также и то, что некоторые из друзей молодого драматурга, как, например, более известный и видный между ними,[75] придумал для себя оригинальный костюм на манер славянофильского, нечто вроде поддевки, которую и обратил в обиходный. <…>

Недоразумение выходило полное, и оба особняка устояли в замкнутом и непроницаемом виде, каждый под своей смоковницей, сообразно с личным темпераментом и усвоенными симпатиями. <…>

На вечере у М. С. Щепкина один из ученых западников вдался в объяснение того, что вся Русь такова, как обрисовал купеческую семью Островский в первой своей комедии. Иных людей, кроме плутов и мошенников, и быть не может.

— Ну, так прощайте, мошенники! — сказал Садовский — и ушел.

Раскол в ученых и образованных слоях Москвы такой высокой важности и глубокого значения успел проникнуть и за кулисы Малого театра, так как крупных представителей сцены не чуждалось не только образованное, но и самое высшее столичное общество. Впрочем, здесь оба эти направления, занесенные извне во взаимных сношениях между собою артистов, не имели особенно выдающегося и серьезного значения с последствиями, хотя самое движение было очень приметно. Образовались две партии, но ни за тою, ни за другою нельзя было признать указанного определения в строгом смысле. Вернее сказать, западницкая была просто щепкинской, а другая — крайняя — островской партией. К последней принадлежали почти все артисты, игравшие в пьесах Островского; на стороне правой стояли особняком только три вышеупомянутые во главе со Щепкиным, Шуйский и Самарин. В сущности, главным поводом к этому распадению передовых артистов послужил именно новый репертуар, возобладавший сценою с неожиданно поразительным

успехом. Эти трое не нашли в нем себе подходящих ролей: ни ветеран сцены, ни прекрасный в водевилях (в то время) Шуйский, ни блестящий первый любовник Самарин. Типы Островского оказались совершенно незнакомыми, и им всем как будто приходилось оставаться за флагом.[76] Шуйский, ознакомившись с критическими статьями Григорьева, так и говорил откровенно в знакомых домах и за кулисами в уборных:

— Надеть на актера поддевку да смазные сапоги — еще не значит сказать новое слово.

— Бедность-то не порок, да ведь и пьянство не добродетель! — ехидно острил хитрый ветеран сцены, не без скрытого подмигиванья и лукавого киванья в прямом направлении.

На защиту выступал Степанов, отличавшийся в роли Маломальского. Он говорил товарищам, втихомолку посмеиваясь:

— Михаилу Семенычу с Шуйским Островский поддевки-то не по плечу шьет, да и смазные сапоги узко делает: вот они оба и сердятся.

Известно, что Щепкин играть назначенную ему роль Коршунова (в комедии "Бедность не порок") наотрез отказался и резко порицал самую пьесу.

Не выдержал наконец и Садовский, вообще сдержанный и правдивый, когда «хитроумный» старец, в виду выраставших успехов молодого писателя, начал не признавать в его пьесах уже никаких достоинств и в особенности порицал «Грозу». После споров в уборной, когда Щепкин вышел из себя, стучал кулаком по столу, костылем в пол, Садовский хладнокровно установил свое мнение, высказав решающее слово:

— Ну, положим, Михайло Семенович западник: его Грановский заряжает, а какой же Шуйский западник? Он просто Чесноков.

Такой отзыв быстро распространился, и тем более угодил всем, что Щепкин состоял усердным посетителем собраний западников (чаще у Кетчера), а Грановский, по его просьбе, прочел актерам лекцию о комментаторах «Гамлета». Что же касается Шумского, то действительно он носил природную фамилию Чеснокова до поступления на сцену в Одессе, которую оставил для Москвы, но снова туда возвращался и опять вернулся в Москву на постоянную службу. <…>

Чуждый всяческих интриг и зависти и забавляясь театральными сплетнями, как веселым развлечением в досужие часы и в приятельской компании, Островский верил своему призванию столь твердо, что на нападки предпочитал отвечать действием, а не словами. <…> Недоброжелательство,

укреплявшееся на шатких основах временных недоразумений, стало утрачивать свои силы и совсем ослабело, когда сам автор вышел из тесных рамок купеческого быта и ввел в свои комедии и драмы новые и живые элементы. Драматическая литература обогатилась свежими художественными типами, взятыми из прочих сословий государства, и сценическим деятелям предъявлены были иные мотивы, где можно было показать свои сдержанные силы и всем тем, которые до сих пор намеренно, из притворного упрямства, не хотели прибавить себе лишних успехов на сцене. С появлением в числе действующих лиц новых комедий с ролями чиновников и военных, помещиков и актеров и проч. секрет был открыт. Самые стойкие и упрямые вынуждены были соблазниться и покориться. За объятиями Щепкина, хотя, конечно, и без прямого влияния их, последовало негласное, но столь же поучительное примирение с автором его театральных противников. И Шуйский и Самарин доброхотно сдались, но тем не менее успевши одержать благородную победу над самими собой и блистательную над публикой, когда взялись за те роли в ранних пьесах, которые до того времени обегали. Среди выдающихся сценических успехов в московском театре не забудется та образцовая мастерская игра, какою отличались: Шумский в роли Вихорева (в "Не в свои сани…"), Добротворского ("Бедная невеста"), Жадова ("Доходное место"), Оброшенова ("Шутники"), Крутицкого ("На всякого мудреца…"), Счастливцева ("Лес"), ростовщика ("Не было ни гроша…"), и Самарин в ролях Телятьева в "Бешеных деньгах", и Линяева в "Волки и овцы". Исполнение роли Самариным в последней пьесе вызвало искренний восторг самого автора, сказавшего, что артист в ней как рыба в воде.

С переводом Островского в «Современник» стало ослабевать и то неблагоприятное предубеждение, которое с самого начала его деятельности господствовало среди западников, хотя крайние из них, как В. Ф. Корш и переводчик Шекспира Кетчер, всегда признавали в нем великий талант. Талантливая критика Добролюбова ("Темное царство") окончательно разрешила вопрос и примирила западников с Островским. Он сделался постоянным и исключительным сотрудником «Современника», где дана ему была и подходящая материальная оценка, установившаяся раз навсегда (по двести рублей за каждый акт), и остался верен редакционной компании Некрасова, когда она, после запрещения «Современника», взяла в свои руки "Отечественные записки", где, как известно, Краевский оставался лишь номинальным редактором-издателем.

Рассеялись подозрения западников, однако, не без некоторых

существенных нравственных утрат для нашего драматурга в среде московских его друзей; исчезла рознь в закулисном мире, и число исполнителей увеличилось, обогатившись крупными силами, — и Островский действительно стал счастливым человеком, как подсказал Садовский в день покаяния и примирения Щепкина.[77] [78]

Зависть, всегда неразлучная спутница всяких успехов, а тем более столь быстрых, не перешла в ненависть, от которой обычно происходит много бед. Во многом помогла здесь, мягкая, нежная природа самого драматурга, который сдержанностью характера и величавым хладнокровием умел ослаблять силу ударов врагов и сдерживать пылкие порывы союзников. Ветки терновника, вплетенные в его лавровый венец, не были для него настолько болезненно колючими, чтобы привести в раздражение. Настоящего горячего или стойкого боя по этой причине не произошло, и даже злому языку водевилиста Ленского, искавшего всюду хотя бы единую кроху для красного словца, здесь не было пищи. Слишком ярко выступало приветливое обхождение с равными и большими, ободряющая ласка к малым и незаметным; с большим тактом устраивались и уладились истинно товарищеские, взаимно помогающие отношения, и всегда теплое домашнее гостеприимство и радушная хлеб-соль попросту, а нередко и с затеями.

— Проходил мимо Генералова, — говаривал дома милый хозяин, привычным особенным приемом поправляя свою густую, круто подстриженную бороду, — глядит в окно провесная белорыбица, точно сливки…

— Да и у Арсентьевича она не хуже: садитесь — попробуйте, — следовал ответ и наглядное доказательство.

Или так:

— В кофейной у Печкина на карту поставили суп из сморчков…

— Да и в наш суп они сегодня попали… — и т. п.

Так это было, по крайней мере, в те годы, когда возрастала слава и устанавливались литературные и общественные отношения этого дорогого человека. Дорог он был своими сердечными упрощенными отношениями. Шутливым советом И. Ф. Горбунову запастись белою фуражкой с кокардой, чтобы уже очень не обижали ямщики на бойком Петербургском шоссе и притом еще во время ярмарки, проводил он нас обоих в путь на Волгу и дальше из своего укромного и теплого гнездышка.[79] Дружескими советами с крепким объятием и прощальным словом, в котором чувствовалась скрытая жгучая слеза разлуки, любовно напутствовал, отечески благословлял он и меня в

дальний путь по Сибири на далекий неведомый Амур.[80] За больным Писемским, возвратившимся из путешествия по устьям Волги,[81] истощенным астраханскою лихорадкой, он ходил, как за ребенком, и посылал жене его в деревню успокоительные письма, а впоследствии заботливо защитил его от легкомысленных и скороспелых обвинений в том, что он из поездки своей ничего не вывез и там ничего не делал. Эти доказательства дружеских отношений и братских чувств, которым и вмале он был много верен, приводятся здесь не только по чувству личной благодарности, но и с уверением, что подобных примеров в жизни нашего великого писателя было много, чрезвычайно много. К Садовскому, например, он простер свою дружбу до того, что вместе с ним и исключительно для него приехал в Петербург на первые гастроли артиста; зная нелюбовь его к Петербургу, терпеливо выдержал с ним затворничество в меблированных комнатах Толмазова переулка, и, если настояла надобность выезда, сопровождал его лишь туда, где его не могли сильно огорчить и сам он не мог резко проговориться. На защиту обвиняемых друзей в эпоху всеобщего отрицания (как, например, на обеденных собраниях у Некрасова) Островский, здесь всегда серьезный и очень сдержанный, более молчаливый и прислушливый, чем разговорчивый, выступал с горячностью и убедительностью.[82]

Не только при этих случайных и редких натисках, но и вообще во время приездов в Петербург он казался далеко не таким, каким был дома в Москве. Исчезали и безграничное добродушие, и приветливая веселость, — вдруг надобилась личина особенного смирения и наложение обета молчания. Иногда невозможно было вызвать его на такую оживленную беседу, какие были обычны в присутствии и при его живом участии везде в Москве. Здесь он как будто все оглядывался и осматривался, как тот редкий гость, который пришел в незнакомый дом и не знает, что делать: сесть или стоять, слушать других или начать разговор, и даже затрудняется в том, куда девать свои руки. Это не было упорное отчуждение и намеренная замкнутость при полном затворничестве Садовского, но некоторая натянутость москвича все-таки проглядывала при всех его стараниях это скрыть, а в последние посещения даже и развернуться. Конечно, это в развязном Петербурге с дерзким и вызывающим моноклем в глазу нашему скромному гостю совсем не удавалось развернуться: он был тяжел и неловок, не имел светского лоску и не в силах был заставить себя отбросить всякое стеснение. Один только раз помню я, когда речь его заблистала увлекательно и он, осилив натянутость, обычную при первом

свидании с незнакомыми, дал себе волю. Это было на одном из еженедельных «вторников» у Н. И. Костомарова в то время, когда печатались в "Вестнике Европы" его "Последние годы Речи Посполитой".[83] После ответа на вопрос Николая Ивановича, где автор «Минина» нашел известие о том, что этот нижегородский гражданин покупал плохих лошадей, но потом в короткое время они у него так отъедались, что сами хозяева их не узнавали, — ответа, предъявившего новые доказательства тому, что, отдаваясь известному изучению, Александр Николаевич доходил до корня вдумчиво и основательно, — коснулась речь отношений Москвы к Польше, московских посольств и переговоров. По ведомым, живым образцам, еще уцелевшим в современной Москве в среде именитого купечества, и с тем художественным проникновением, которое составляло секрет Островского, он развернул картину в художественно-комическом виде свидания наших долгополых доморощенных политиков, несговорчивых, грубых и упрямых перед надменными, блестящими кунтушами с таким мастерством, что поразил всех. Болезненно-нервный Костомаров увлекся так, что вскакивал с места, бегал по комнате, хохотал до упаду и топал ногами по привычке, усвоенной им в подобных случаях восторгов и увлечений. Соревнование художника-драматурга с художником-историком действительно было полно интереса и увлекательности. На другой день в "Балабаевской обители" (как шутливо назывался трактир в доме Балабина, рядом с Публичной библиотекой), куда после занятий в библиотеке Костомаров заходил пить чай с Кожанчиковым, Островский побеседовал с ними на подобные же темы, вновь убедивши историка в глубоком изучении и живом понимании именно народной русской истории. Оба художника были в восторге друг от друга, и один из них писал мне потом: "Молю бога, да не оскудевает в обители Балабаевской обилие чайное".[84]

Не от избытков средств теплился и светлел приветливый очажок у Серебряных бань, когда нижний этаж дома отдавался жильцам, а сам хозяин ютился сначала и долгое время наверху. Борьба с нуждой велась незримо для посторонних глаз, но ясна была для окружающих, а от близких и доверенных в крайних случаях и не скрывалась. Далеко было до того довольства совершенно обеспеченного в материальном отношении Тургенева и даже до того скромного, каким, например, успевал обставиться Писемский. В немногих и тесных комнатах Островского не нашлось бы места тем широким оттоманкам Тургенева (привычку к ним не покидал он и за границей), на которых спокойно велись литературные беседы и беззаботно валялись довольные своим настоящим: счастливый в денежных делах Некрасов,

обеспеченные отцовскими наследствами артиллерийский офицер, только что покинувший осажденный Севастополь, граф Л. Н. Толстой, умеренный и аккуратный А. В. Дружинин, обеспеченный доходами с журнала И. И. Панаев, очень богатый от чайной торговли отца В. П. Боткин и др.

Не помнится, чтоб у Александра Николаевича был даже письменный стол с общепринятыми приспособлениями и приличный такому работнику, но уютного и уединенного кабинета, обставленного удобствами, облегчающими занятия, положительно не было и нигде невозможно было заметить живых следов литературного труда. Деревянный дом принадлежал ему совместно с братом (Михаилом Николаевичем).

У Погодина нельзя было поживиться: например, Эдельсон и другие получали по пятнадцать рублей с печатного листа мелкого шрифта, и только Алмазову иногда удавалось счастливо срывать двадцать — тридцать рублей. Островский за «Банкрота» получал по мелочам и всякий раз с наставлениями о сбережениях и воздержании, и вдобавок за ними надо было еще ездить в даль Девичьего поля на извозчике. Во всяком случае, великому драматургу приходилось испытывать горькую судьбу литературного деятеля в то время, когда подхваченные на сцене слова и выражения уже разносились по Гостиному двору, начиная с Ножовой линии, и через трактиры уходили в деревни прямо в народ. Писатель становился в полной мере популярным и бесспорно народным.

При таковых-то условиях материальной оценки художественного труда, более мешающих, чем способствующих творческому настроению, приходилось работать Островскому, по крайней мере на добрую половину его авторской жизни. Их следует знать и помнить при оценке его первых трудов и при встрече с недостатками, обличающими торопливость и недоделанность. Под влиянием дружеских и товарищеских побуждений он должен был поспешать отделкой, поспевая к бенефисам, и под натиском нужды — изготовлением новых пьес к сроку выхода казовых новогодних номеров журналов. Нужда неотступно стояла за плечами, именно во все осеннее время и усиливалась по мере приближения рождественских праздников. "Сами знаете (писал он мне в одном из своих писем), в каком я положении нахожусь. К такому празднику, когда расходы удесятерятся, быть совершенно без копейки — вещь очень неприятная. Я не знаю, что мне делать. Я просто теряю голову". [85]

В это время возраставшей нужды и происходили ежегодно наши петербургские встречи, когда Островский привозил новые

пьесы, читал их по вечерам избранным кружкам, приглашая артистов, входил в денежные соглашения с Некрасовым; иногда успевал прочитывать корректуру. Корректуру полного собрания доверял обыкновенно мне с помощью Горбунова, а раз избрал меня посредником при продаже шестого тома, *в* который вошли "Горячее сердце", "Бешеные деньги", «Лес» и "Не все коту масленица", книгопродавцу Звонареву,[86] а затем и нового полного собрания сочинений Д. Е. Кожанчикову.[87] Из переписки, усилившейся между нами по этому поводу и имеющей уже теперь за собою более чем двадцатипятилетнюю давность, из этой переписки, которая свято сохраненною лежит теперь перед глазами, воскресает милый образ. На пожелтевших от времени листках выступают живыми и яркими те незабвенные черты его, которые привлекали и очаровывали всех при жизни: поразительная скромность — существенный признак, свойственный лишь истинным талантам и служащий их украшением; еще неустановившаяся в себе неуверенность в силе таланта, жаждущая новых проявлений и рассчитывающая на будущие более решительные доказательства; и полная дружеская откровенность с простосердечною искренностью, и при всем этом изумительная деликатность во всяческих отношениях, хотя бы и с личным ущербом.

Между тем надвигалась беда. Чрезмерная работа последних лет оказалась губительною тем более, что целый год производилась порывами и тревожно. Эти волнения и ежедневные беспокойства в Москве оказались более убийственными, чем прежняя умеренная деятельность и правильно налаженные литературные занятия, когда привелось написать для русской драматической сцены сорок четыре оригинальных произведения, [88] кроме некоторых переводных пьес.[89] Литературные занятия, как всякое телесное упражнение, могли казаться здоровыми, но, чрезмерно возбуждая душевные силы, в то же время истощали и убивали тело, в котором уже успели угнездиться тяжелые недуги. Эта-то чрезмерность в труде, а главное — постоянное раздражение неприятностями по управлению труппой *83*, на податливой почве потрясенного организма и сделались роковыми, как всякое излишество, когда перед отъездом на лето в Щелыково Александр Николаевич еще вдобавок и простудился. По целым часам от ревматических болей он не мог пошевелиться и ужасно страдал; дорогой впадал в обмороки.

А затем коротенький сказ, торопливое газетное известие на легком ходу:

"Утром в духов день 2 июня (1886 г.) А. Н. Островскому внезапно сделалось дурно, и он скончался".

Совершилось ужасное событие, и разнеслась по России потрясающая весть:

Островского не стало!

Тем не менее, по искреннему и правдивому выражению, безыскусственно высказанному, между прочим, на двадцатилетнем юбилее его драматической деятельности:

> Пройдут года — дойдет от дедов
> Ко внукам труд почтенный твой,
> И Пушкин, Гоголь, Грибоедов
> С тобой венец разделят свой…[90]

Показывая нам юмористическую сторону жизни, он учил плакать и смеяться честно и искренно, — и этим особенно дорога нам его память. Недалеко ходить и за утешением: уже очень давно сказано: "Жить после смерти в сердцах тех, кого покидаем, — не значит умереть".

ПРИМЕЧАНИЯ

Сергей Васильевич Максимов (1831–1901) — писатель-этнограф, автор книг "Год на севере", "Крылатые слова", "Сибирь и каторга" и многих других.

С Островским Максимов познакомился в 1850 году и был особенно связан с ним в начале пятидесятых годов, когда Островский увлекался идеями славянофильства и был активным членом "молодой редакции" журнала «Москвитянин». Островского и Максимова соединял также огромный интерес к живому, меткому слову, к народной поэзии. Впоследствии, когда Островский порвал с «Москвитянином», а Максимов переехал из Москвы в Петербург, их дружеские отношения не прекратились, хотя встречались они уже значительно реже.

С. В. Максимов находился под заметным влиянием славянофильства, что наложило отпечаток и на его воспоминания.

Писались воспоминания, очевидно, с конца 1896 года, так как известно, что в них использованы еще в рукописи материалы XI тома сочинения Н. Барсукова "Жизнь и труды М. П. Погодина" (опубликованы в 1897 году), и в 1897 году, поскольку в тексте есть упоминание о кончине П. М. Боклевского "в начале текущего года" ("Русская мысль", 1897, N 3, стр. 62). Впервые опубликованы воспоминания в журнале "Русская мысль", 1897, NN 1, 3, 5; 1898, NN 1, 4. При подготовке для переиздания в собрании сочинений А. Н. Островского, написанных в сотрудничестве с Н. Я. Соловьевым и П. М. Невежиным ("Драматические сочинения А. Н. Островского, Н. Я. Соловьева, П. М. Невежина", т. I, СПб. <1909>, изд. "Просвещение"), они были переработаны и дополнены. В нашем сборнике текст перепечатан с этого последнего издания.

notes

Примечания

1

Стр. 65. В приходе церкви Николы в Воробине, что у Яузы, А. Н. Островский жил с осени 1841 года, сначала в большом доме, вместе с отцом, а потом, со второй половины 1849 года по октябрь 1877 года, во флигеле, о котором и пишет мемуарист.

2

Стр. 65. Неточная цитата из Евангелия (от Матфея, гл. 24).

3

Стр. 66. В начале XIX века огромная территория от церкви Николы в Воробине к реке Яузе и по самой реке вверх принадлежала барону Тессину, тестю Н. Ф. Островского, отца драматурга. По фамилии этого владельца и назван переулок — Тессинский, сохранившийся до нашего времени. Во второй половине XIX века в этом переулке разместилась фабрика.

4

Стр. 66. Гравюры, созданные в конце XVIII века неизвестным иностранным художником и посвященные императору Павлу I. На гравюрах, в частности, изображались Серебряные бани.

5

Стр. 66. Выражение, вышедшее, как указывает Максимов, из стен духовных семинарий (С. Максимов, Крылатые слова, Гослитиздат, М. 1955, стр. 109).

Стр. 68. См. вступительную статью, стр. 11–12.

7

Стр. 69. "Молодая редакция" журнала «Москвитянин» распалась в 1855 году, то есть еще до закрытия самого журнала (1856), а Островский начал расходиться с "молодой редакцией" уже в пору работы над драмой "Не так живи, как хочется" (1854), поэтому-то наиболее правоверные члены "молодой редакции" не случайно оказались недовольными этой пьесой. Так, Т. Филиппов, указывая на недостатки пьесы, усматривал их причины во "влиянии натурального направления" ("Сборник Т. Филиппова", СПб. 1896, стр. 39). Новые настроения Островского были замечены и в лагере революционной демократии (см. вступительную статью, стр. 9). По поводу "Не так живи, как хочется" И. С. Тургенев писал драматургу 10 февраля 1855 года: "…По поручению редакторов «Современника», обращаюсь к Вам с вопросом: не хотите ли Вы поместить Вашу последнюю комедию у них в журнале — они примут ее с радостью и предлагают Вам за нее 250 руб. серебр." (И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем, Письма, т. 2, изд. АН СССР, М.-Л. 1961, стр. 257). "Не так живи, как хочется" Островский поместил все же в «Москвитянине» (1855, N 17–18), но это была последняя его пьеса в погодинском журнале, вскоре он бесповоротно порывает и с журналом, и с его "молодой редакцией". С годами, естественно, расширялись личные связи Островского с писателями, артистами, музыкантами и т. д. Вот их-то и выдает Максимов за новых членов давно распавшейся "молодой редакции". Эту ошибку — отождествление Островского с "молодой редакцией" — мемуарист допускает в своих воспоминаниях очень часто.

8

Стр. 69. Письмо не опубликовано, его местонахождение неизвестно.

9

Стр. 70. См. воспоминания В. З. Головиной (Ворониной), стр. 34.

10

Стр. 70. Опера А. Н. Верстовского, написана в 1835 году.

11

Стр. 70. Торопка — один из героев "Аскольдовой могилы".

12

Стр. 71. О цыганке Матрене сведений никаких не сохранилось. Очевидно, Максимов спутал ее с известной певицей и красавицей цыганкой Татьяной Демьяновной, голосом которой Пушкин действительно восхищался, о чем осталось немало свидетельств (А. С. Пушкин, Письма, т. III, «Academia», 1935, стр. 136–141).

13

Стр. 71. О ком идет речь, выяснить не удалось.

14

Стр. 72. С. В. Максимов имеет в виду комментарии славянофильского историка литературы П. А. Бессонова в книгах: "Песни, собранные П. В. Киреевским", ч. 1–4, вып. 1-10, М. 1860–1874; и "Калеки перехожие. Сборник стихов и исследование П. Бессонова", вып. 1–6, М. 1861–1864. В последний сборник вошли также песни, изданные самим П. В. Киреевским ("Русские народные песни", М. 1848).

15

Стр. 74. В комедии "Не в свои сани не садись".

16

Это был Николай Ягужинский, доброхотно пристроивший себя в бессменные ординарцы Александра Николаевича. Будучи человеком весьма неглупым, очень любил выпить и служил предметом постоянных шуток всего кружка. <…> (Прим. С. В. Максимова.)

17

Стр. 75. Генерал Дитятин — яркий сатирический образ, от имени которого И. Ф. Горбунов с неизменным успехом выступал на протяжении почти всей своей жизни. Прикрываясь маской грубого, невежественного солдафона, реакционера и доносчика, он зло и остроумно издевался над всеми видами российского мракобесия, ретроградства, шовинизма и тупоумия.

18

Стр. 76. Монашенки — небольшие, конусообразной формы свечки, зажигавшиеся ради их приятного запаха.

19

Стр. 76. Комедия помещена в N 6 журнала за 1850 год.

20

Стр. 77. С. В. Максимов еще по рукописи был знаком с воспоминаниями И. Ф. Горбунова (в наст, сборнике помещены на стр. 47).

21

Стр. 78. Кого здесь имеет в виду С. В. Максимов, точно неизвестно. Всего вероятнее — Д. А. Горева-Тарасенкова, до того как он спился и потерял все свои симпатичные черты, превратившись в наглого самохвала (о нем см. прим. 20 к воспоминаниям И. Ф. Горбунова, стр. 519). Островский познакомился с ним в начале сороковых годов и замечал в нем тогда "довольно благородства" (Островский, т. XIV, стр. 41).

22

Стр. 79. Корнилия Полтавцева, о котором мемуарист пишет ниже, он сравнивает здесь с Колюбакиным.

23

Стр. 80. Упоминаемая в тексте «повестушка», очевидно, «Квартет», которую Е. Э. Дриянский читал А. Н. Островскому в 1852 году (из-за цензуры появилась в печати лишь в 1858 году, NN 9 и 10 "Библиотеки для чтения"). Роман — "Туз (Жизнеописание Антона Антоновича)" — был отдан Дриянским М. Н. Каткову в "Русский вестник", где его и начали печатать (1865, NN 4–6). Однако менее чем на половине романа публикация была прекращена, что вызвало возмущение автора, высказанное им в письмах к С. В. Максимову от 26 сентября и 19 ноября 1865 года (хранятся в ГБЛ). Выступления Дриянского по этому вопросу в газетах, о которых пишет мемуарист, неизвестны. Писатель долго искал издателя для публикации романа целиком, и, не найдя его, выпустил в 1867 году роман на собственные средства, несмотря на свое крайне тяжелое материальное положение. Всю жизнь его преследовала жестокая нужда. 4 декабря 1872 года А. Н. Островский писал своему брату, М. Н. Островскому: "Егор Эдуардович Дриянский при последнем издыхании; нужда, сырые квартиры сломили его железное Здоровье и довели до лютой чахотки. В темном углу, за Пресней, без куска хлеба, без копейки денег умирает автор "Одарки Квочки", «Квартета», «Туза», «Паныча», «Конфетки» и пр., - таких произведений, которые во всякой, даже богатой, литературе были бы на виду, а у нас прошли незамеченными и не доставили творцу-художнику ничего, кроме горя" (Островский, т. XIV, стр. 241).

24

Стр. *80*. По закону 1865 года, действовавшему до 1905 года, предварительная цензура для оригинальных произведений объемом свыше десяти печатных листов отменялась, но строгости и карательные меры усиливались. А. В. Никитенко в связи с этим писал: "Цензора нет. Но взамен его над головами писателей и редакторов повешен дамоклов меч в виде двух предостережений и третьего, за которым следует приостановка издания. <...> Итак, это чистейший произвол <...>. Понятно, что пишущая братия сильно переполошилась" (А. В. Никитенко, Дневник, т. 2, Гослитиздат, 1955, стр. 515).

25

Стр. 81. 10 февраля 1855 года И. С. Тургенев просил Островского прислать ему в Петербург "несколько рисунков г-на Боклевского (если не к "Бедность не порок", то хоть другие) — я бы их здесь показывал людям со влиянием — и это могло бы послужить в пользу г-ну Б<оклевскому>, произведения которого очень бы нужно было вывести на свет" (И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем, Письма, т. 2, изд. АН СССР, М. -Л. 1961, стр. 257). Иллюстрации изданы гр. Г. А. Кушелевым-Безбородко в виде альбомов литографий под названием "Рисунки Боклевского к сочинениям А. Н. Островского", 1859–1860. Помимо комедии "Бедность не порок", проиллюстрированы "Свои люди — сочтемся!", "Не в свои сани не садись", "Не так живи, как хочется" и др.

26

Стр. 81. Под профессорским С. В. Максимов разумеет московский кружок либеральных западников, возглавляемый Т. Н. Грановским.

27

Стр. 82. Почти о всех упомянутых Максимовым людях он подробно пишет ниже. Исключение составляют двое: "знаменитый виртуоз" — пианист и композитор Александр Иванович Дюбюк и "учитель чистописания и рисования" — А. Дьяков (о нем см. прим. 1 к воспоминаниям И. В. Берга, стр. 510).

28

Стр. 82. Аханный промысел — ловля красной рыбы особыми сетями.

29

Стр. 82. И. И. Железнов, по делам службы попавший в Москву, через Н. И. Шаповалова и Е. Э. Дриянского познакомился с Островским и его друзьями и, воодушевленный ими, с их же помощью вскоре начал писать этнографические очерки о быте, нравах и труде уральских казаков. Печатались очерки в «Москвитянине», а после его закрытия в "Отечественных записках", "Библиотеке для чтения". "Картины аханного рыболовства" напечатаны в «Москвитянине», 1854, NN 9, 10.

30

Стр. 83. В. П. Бородин, по происхождению тоже уральский казак, являлся главным инициатором издания полного собрания сочинений И. И. Железнова, вышедшего в 1888 году. Его переписка с Островским по поводу нового издания произведений Железнова не сохранилась.

31

Стр. 86. Русаков — герой комедии "Не в свои сани не садись".

32

Стр. 87. Агафья Ивановна — невенчанная жена А. Н. Островского. Познакомились они в 1846 году и прожили совместно до смерти Агафьи Ивановны в 1867 году.

33

Стр. 88. Вероятно, И. И. Шанина и Т. И. Филиппова.

34

Стр. 89. С. П. Шевырев, по болезни, не присутствовал на чтении Островским комедии "Свои люди — сочтемся!" у М. П. Погодина. Эта фраза была им сказана 14 февраля 1847 года, когда на его квартире при многочисленных слушателях, среди которых находились Т. Н. Грановский, А. С. Хомяков, А. А. Григорьев, была прочитана Островским пьеса "Картина семейного счастья" (М. П. Садовский, Речь в память пятидесятилетия первого представления комедии "Не в свои сани не садись". — "Ежегодник императорских театров", 1902–1903, вып. XIII, стр. 197–198). Путаницу в отнесении фразы С. П. Шевырева к комедии "Свои люди — сочтемся!" внес Ф. А. Бурдин в своих воспоминаниях об Островском (см. в наст. сб. на стр. 329).

О восторженном приеме "Картины семейного счастья" на чтении у С. П. Шевырева Островский вспоминал всю жизнь. Всего за полгода до смерти, 12 декабря 1885 года, в альбоме М. И. Семевского он записал: "Самый памятный для меня день в моей жизни: 14-е февраля 1847 года. <…> С этого дня я стал считать себя русским писателем и уж без сомнений и колебаний поверил в свое призвание" (Островский, т. XIII, стр. 302). Но, будучи благодарным Шевыреву за поддержку, Островский никогда не сходился с ним близко и оставался чуждым его взглядам.

35

Стр. 89. См. прим. 8 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 511.

36

Стр. 89. Эти слова М. П. Погодина, а также приведенные Максимовым ниже высказывания о пьесе Е. П. Ростопчиной, А. С. Хомякова, И. И. Давыдова и В. Ф. Одоевского, взяты из книги Барсукова, стр. 69–74, тогда находившейся еще в рукописи и предоставленной С. В. Максимову ее автором.

37

Стр. 89. В «Современнике» (1843, N 11), а не в "Отечественных записках" был помещен фельетон А. И. Герцена "Записки Вёдрина", пародирующий путевой дневник М. П. Погодина "Год в чужих краях", печатавшийся в 1841–1843 годах в «Москвитянине». Пародия блестяще воспроизводила стилистическую манеру Погодина, высмеивая его консерватизм, скупость, поверхностность наблюдений и т. д.

38

Каждая вещь и каждое произведение имеют недостатки и достоинства (франц.).

39

Стр. 91. На Тверской улице в Москве в губернаторском доме (ныне дом Моссовета на ул. Горького) жил московский генерал-губернатор граф А. А. Закревский.

40

Стр. 91. "Покоиться до радостного утра" — неточная цитата из «Эпитафий» Н. М. Карамзина.

41

Стр. 91. В то время как высшая цензурная инстанция — Комитет 2 апреля 1848 года — рассматривала комедию "Свои люди — сочтемся!" (см. прим. 14 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 513), в Москву по личному распоряжению Николая I был послан запрос шефа жандармов гр. А. Ф. Орлова об "образе жизни и мыслей" А. Н. Островского. А. А. Закревский, получив 9 апреля 1850 года бумагу, в свою очередь, запросил московский Коммерческий суд, где служил молодой драматург. Из суда уведомили, что Островский "не подавал повода к заключению о каком-либо неблагонамеренном образе мыслей". Московский обер-полицмейстер Лужин дополнительно сообщил, что Островский "ведет себя хорошо, имеет острые способности ума, склонные более к критическим сочинениям, <…> поведения и образа жизни <…> хорошего, но каких мыслей, положительно заключить невозможно" (Государственный архив революции и внешней политики). Закревский объединил донесения, опустил характеристику ума, могущую дать повод к дурному ее истолкованию, заменил неопределенный отзыв об образе мыслей положительным и послал 2 мая гр. Орлову секретное представление, в котором писал, что Островский "пользовался всегда хорошим мнением начальства и не подавал повода к заключению о неблагонамеренном образе мыслей. Поведения и образа мыслей <…> хорошего" (там же).

Несмотря на это, Николай I, прочитав комедию, на благожелательном отзыве Орлова написал: "Иметь под присмотром". Гр. Орлов по получении резолюции Николая I сообщил о ней 2 июня Закревскому, а также в корпус жандармов — С. В. Перфильеву, "дабы за Островским имелось секретное наблюдение и со стороны корпуса жандармов". Таким образом, с июня 1850 года Островский оказался под двойным негласным надзором — полиции и корпуса жандармов.

В связи с этим Островскому в 1851 году пришлось оставить службу в Коммерческом суде и добывать средства к жизни литературным трудом.

42

Стр. 91. А. П. Ермолов был человеком прогрессивных взглядов, близким к декабристам, которые даже рассчитывали на его поддержку в военном перевороте. В 1827 году Николай I уволил Ермолова в отставку.

43

Стр. 92. За что была «нахлобучка», неизвестно.

44

Стр. 92. Началась Крымская война (1853–1856).

45

Знаменательно, между прочим, то обстоятельство, что Щепкин не решился применить свои крупные силы к роли Любима в Москве. Он обдуманно и расчетливо приготовился полюбовать себя перед тою развеселою отобранною московскою публикою, которая выезжает в Нижний на ярмарку, куда и Михаил Семенович прибыл затем, чтобы дать девятнадцать спектаклей. Хитрый старик, малороссийского закала, оправдывал это намерение свое следующим образом (в письме к сыну 27 августа 1858 года): "Я выучил летом роль Любима Торцова нз комедии "Бедность не порок" Островского, в которой Садовский так хорош. Сыграть мне ее нужно было бы во что бы то ни стало. Это являлось потребностью моей души. В Москве я не мог ее сыграть, потому что это было бы не по-товарищески: я как будто бы стал просить себе сорок рублей разовых, между тем Садовский еще не получает и полного оклада. Роль сама по себе «грязна» (?!), но и в ней есть светлые стороны. Моя старая голова верно поняла; разогретое воображение затронуло неведомые дотоле струны, которые сильно зазвучали и подействовали на сердце зрителя. П. В. Анненков хотел написать статью, которая расшевелила бы Садовского. Он, бедный, успокоился на лаврах, думая, что искусство дальше идти не может, что при его таланте очень и очень обидно".[92] (Прим. С. В. Максимова.)

46

Река Сендега принимает воду этой речки Куекши и уносит ее в реку Меру, впадающую в Волгу. Сельцо Щелыково куплено было отцом драматурга, который проводил в нем каждое лето; там и скончался (в той же комнате, где умер и Александр Николаевич) и похоронен на погосте церкви села Никола-Бережки. К приходу его принадлежало Щелыково. Александр Николаевич похоронен здесь же, рядом с могилой отца. После смерти последнего (Николая Федоровича) имение досталось, по завещанию, вдове его (мачехе старших двух сыновей), у которой оно было куплено младшим (Михаилом Николаевичем) при участии старшего брата.[93] (Прим. С. В. Максимова.)

47

Стр. 96. Цитаты из неизвестного, очевидно утраченного, письма Островского к Максимову.

48

Стр. 98. См. прим. 8 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 511.

49

Вообще, это время — начало пятидесятых годов — было переходною эпохою от гусиных перьев к стальным, от ассигнационного рубля к серебряному, от сальных свечей — к стеариновым, от курительных трубок — к папиросам и т. п., и в тех и других случаях с постепенностью, по градациям. (Прим. С. В. Максимова.)

50

Стр. 98. А. Н. Островский нередко создавал подробные планы своих пьес, например, для "Бедной невесты" и «Грозы» (Н. П. Кашин, Этюды об Островском, т. II, М. 1912, стр. 49–57, 325–329). Первоначальный план, набросанный драматургом для "Не так живи, как хочется", см. в воспоминаниях И. Ф. Горбунова, стр. 60. Работа Островского над своими пьесами заключалась в том, что, продумав идею, он эскизно набрасывал план пьесы, ее характеры, внося на поля отдельные выражения, реплики и диалоги действующих лиц, заметки и т. п., а потом постепенно отделывал ее, создавая иногда несколько редакций произведения (см. воспоминания М. И. Семевского, стр. 156, а также: Островский, т. XVI, стр. 249; П. В. Безобразов, Рукописи А. Н. Островского. — "Исторический вестник", 1890, N 2).

51

Стр. 98. Неточная цитата из книги Барсукова, стр. 61.

52

Стр. 99. Неточная цитата из книги Барсукова, стр. 86.

53

Стр. 99. Эти слова принадлежат не Т. И. Филиппову, а Н. Барсукову (Барсуков, стр. 67).

Стр. 99. А. А. Григорьев, являясь идеологом "класса среднего, промышленного", весьма последовательно защищал "старую извечную Русь", ориентируясь при этом на патриархальное купечество и городское мещанство. На этой основе вырос и его "культ Островского", которому он приписывал идеализацию патриархального русского купечества. Идейный, социальный смысл творчества драматурга остался ему чужд и непонятен. Отрицая социальную борьбу как средство переустройства общества, Григорьев и в произведениях Островского отказывался замечать их обличительную направленность и провозглашал его писателем спокойным, бесстрастным, "юмористическим без болезненности, прямым без увлечений в ту или другую крайность…" (Сочинения Аполлона Григорьева, т. I, СПб. 1876, стр. 63). Положительным в критике Григорьева было то, что он всегда утверждал высокую эстетическую ценность творчества Островского.

Отношения Островского и Григорьева складывались весьма сложно. Начало пятидесятых годов — время их самой большой близости. Островский высоко ценил в Григорьеве замечательный дар критика, редкий эстетический вкус, искренность и прямоту, никогда до конца не разделяя при этом, даже в пору увлечения славянофильством, его идейных позиций. С уходом драматурга в «Современник» их пути разошлись совсем, виделись они все реже и реже, хотя встречи и оставались дружескими. Григорьев никак не мог примириться с переходом Островского в лагерь «Современника», или, как он говорил, — к «тушинцам». Однако, сетуя на идейные разногласия с драматургом, он по-прежнему продолжал восхищаться его большим и сильным талантом.

55

Стр. 100. С. В. Максимов имеет в виду первую, более сжатую редакцию своих воспоминаний, опубликованных в журнале "Русская мысль" (о ней см. на стр. 523).

56

Стр. 101. Вольная передача письма А. Н. Островского в ответ на «вразумление», сделанное попечителем Московского учебного округа В. И. Назимовым по предложению министра народного просвещения кн. П. А. Ширинского-Шихматова (Островский, т. XIV, стр. 16).

57

Стр. 101. См. прим. 20 к воспоминаниям И. Ф. Горбунова, стр. 519.

Стр. 103. П. М. Садовский.

59

Стр. 103. А. А. Григорьев.

60

Стр. 106. См. прим. 16 к воспоминаниям И. Ф. Горбунова, стр. 517.

61

Стр. 106. Далее приведена неточная цитата из стихотворения "Московский поэт и петербургский обыватель" (Б. Н. Алмазов, Сочинения, т. II, М. 1892, стр. 320).

62

* * *

63

* Известная семья, замечательная выдающимися деятелями: старший, Евгений Федорович Корш, скончавшийся в глубокой старости, принадлежал литературе, как и брат его Валентин Федорович, бывший редактор "Санкт-Петербургских ведомостей". Младший брат, Леонид, известен был в Петербурге как владелец экипажной фабрики, изготовлявшей самые фешенебельные и прочные рессорные кареты, коляски и проч. Из сестер одна была замужем за известным нашим критиком Аполлоном Алекс. Григорьевым, другая — за К. Д. Кавелиным, третья — за профессором университета Никитой Ив. Крыловым, четвертая — за московским богачом А. К. Куманиным, а пятая расцветала в девицах во время молодости Ал. Ник. Островского. (Прим. С. В. Максимова.)

64

Стр. 107. Речь идет о Зинаиде Федоровне Корш, дочери профессора Московской медико-хирургической академии. Проф. Корш, рано умерший, оставил вдову с двумя сыновьями и пятью дочерьми, из которых Зинаида самая младшая. Островский был знаком с братьями Корш еще по гимназии, а во второй половине сороковых годов посещал их дом. Кроме стихотворения "Снилась мне большая зала", прямо адресованного З. Ф. Корш, Островский посвятил ей также акростих "Зачем мне не дан дар поэта" (см. воспоминания С. В. Максимова, стр. 108). Вполне возможно, что З. Ф. Корш послужила прототипом для образа Марьи Андреевны в "Бедной невесте": семья Корш, как и Незабудкины, жила на пенсию отца, вдова проф. Корша искала для своих дочерей состоятельных женихов.

65

В Беневоленском знающие люди находят схожие во многом черты с известным оригиналом, профессором университета по кафедре римского права.[94] (Прим. С. В. Максимова.)

Стр. 108. В. З. Головина (Воронина) — см. ее воспоминания, стр. 34.

67

"Вот что делают годы: из Аполлона я превратился теперь в Посейдона", — шутливо острил над собою Александр Николаевич в кругу близко знавших его в молодости друзей своих в Петербурге. (Прим. С. В. Максимова.)

Стр. 109. Заготовки А. Н. Островского к словарю опубликованы под заглавием [75] — Островский, т. XIII, стр. 305.

69

"Метеорское звание", которое носил знаменитый Любим Торцов, и сейчас применяется с удобством ко всем лицам подобной печальной профессии метеоров, и которым, с придатком характеристики «тепленького», "чуть тепленького", оттеняются настоящие, безвозвратно потерянные. «Доказывает» (свое превосходство) — ломается надменный человек, не желающий слушать чужих мнений и не умеющий отвечать по неразвитости; мысли в разброде, и голова занята лишь самим собой; гордо глядит, односложными словами отвечает, покручивая усы и даже мимоходом поглядывая в зеркало, и т. п. Объем статьи затрудняет дальнейшие наблюдения в этом направлении. Применение различных выражений из произведений Островского к случайным обстоятельствам обиходной жизни Горбунов довел также до виртуозности. Модест Иванович Писарев также знал почти всего Островского наизусть. (Прим. С. В. Максимова.)

Стр. 110. При переходе на третий курс Островский получил неудовлетворительную оценку по римскому праву. Не желая оставаться на юридическом факультете, он не стал пересдавать экзамена и покинул университет.

71

Хотя Островский и считал себя (по отцу) костромичом, родившись в Москве, но в разговоре его не замечалось признаков грубоватого низкого говора на о, — он, конечно, говорил и читал свысока, низким московским говором и, разумеется, без пересола замоскворецких кумушек. Зато Писемский упрямо сохранил говор своей чухломской родины, и это помогало ему доводить до полного слухового обмана особенно тех, кто слушал из соседней комнаты чтение "Плотничьей артели" и "Горькой судьбины". (Прим. С. В. Максимова.)

72

Стр. 115. Н. И. Давыдова, казначея московского дворцового ведомства. О спектаклях в Запасном дворце у Красных ворот см. воспоминания Н. А. Дубровского, стр. 347–348.

73

Стр. 116. Здесь и ниже, говоря о М. С. Щепкине, Максимов допускает много неточностей и передержек. Об истинных отношениях великого актера с Островским см. вступительную статью, стр. 13–14.

Стр. 116. Здесь Максимовым допущены две фактические неточности: когда славянофилы основали журнал "Русская беседа" (1856), 1) Островский не только идейно, но и фактически разошелся с ними. Он даже перепечатал в журнале «Современник» свою самую первую пьесу "Семейная картина", заявив тем самым о своем переходе на новые позиции. "Русской беседе" драматург отдал пьесу "Доходное место" только потому, что обещал это раньше (напечатана в N 1 журнала за 1857 год); 2) Т. Н. Грановский к этому времени уже умер (в 1855 году).

75

Стр. 116. А. А. Григорьев.

Стр. 117. Об исполнении М. С. Щепкиным ролей в пьесах Островского см. вступительную статью, стр. 13–14. С. В. Шуйский начинает играть в пьесах Островского с самого начала их появления в театре: Вихорева ("Не в свои сани не садись", 1853), Добротворского ("Бедная невеста", 1853), Иванова ("В чужом пиру похмелье", 1856) и др. Труднее входил в репертуар Островского И. В. Самарин. В 1854 году им была сыграна роль Мити ("Бедность не порок"), затем был перерыв, но с шестидесятых годов он становится неизменным участником спектаклей Островского: Бабаев ("Грех да беда на кого не живет", 1863), Оброшенов ("Шутники", 1864), Бастрюков ("Воевода", 1865), Кисельников ("Пучина", 1866), Шуйский ("Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский", 1867) и т. д.

Очень серьезные недоразумения, возникшие впоследствии в личных отношениях между Островским и Садовским, настолько странны и неожиданны, что разъяснение их приходится предоставить будущему. Они не имели особенно важных последствий: Садовский оставался прежним поклонником таланта и честным исполнителем его произведений; Островский первым решился подать руку примирения. Однако прежних теплых и близких отношений не установилось: не на мир они побранились (вопреки народной пословице) в то роковое время, когда от неумелого хозяйства вконец распадался московский Артистический кружок, в который наш драматург влагал всю свою душу.[95] (Прим. С. В. Максимова.)

Стр. 120. См. воспоминания И. Ф. Горбунова, стр. 54–55.

79

Стр. 121. И. Ф. Горбунов уезжал из Москвы в 1855 году в Петербург, на службу в Александрийский театр, а позже — на Нижегородскую ярмарку. С. В. Максимов отправился в 1856 году на север в качестве члена литературной экспедиции, предпринятой Морским министерством (см. воспоминания С. В. Максимова "Литературная экспедиция", стр. 159–166).

80

Стр. 121. В 1860 году Морское министерство командировало Максимова для исследования только что осваиваемой Амурской области. На обратном пути он должен был сделать обозрение сибирских тюрем и быта ссыльных. Результатом поездки явились две его книги: "На Востоке. Поездка на Амур в 1860–1861 гг. Дорожные заметки и воспоминания", СПб. 1864; "Сибирь и каторга", СПб. 1871.

81

Стр. 121. А. Ф. Писемский также участвовал в литературной экспедиции.

82

Стр. 122. Трудно сказать, какой конкретный случай имеет в виду Максимов. Однако несомненно, что мемуарист в отношении «Современника» тенденциозно сгущает краски и стремится представить Островского чужим человеком в редакции, что явно не соответствует действительности. Кроме того, если Островский и защищал своих старых друзей по "молодой редакции", то лишь тогда, когда это не противоречило его убеждениям. Так, несмотря на настойчивые просьбы своего друга А. Ф. Писемского подписать протест против демократического журнала «Искра», резко осудившего реакционную статью Писемского (см. прим. 11 к воспоминаниям А. Ф. Кони, стр. 553), Островский в феврале 1862 года решительно отказался это сделать.

83

Стр. 122. "Последние годы Речи Посполитой" Костомарова печатались с февраля по декабрь 1869 года, однако сведения о приезде А. Н. Островского в этом году в Петербург отсутствуют.

Стр. 123. Кому принадлежат эти слова, неизвестно.

85

Стр. 125. Строки из недошедшего до нас письма, по всей видимости, шестидесятых годов. Именно в это время Островский переживал состояние "возраставшей нужды": приходилось жить на две семьи (еще при жизни Агафьи Ивановны, не порвав с ней, Островский вступил в гражданский брак с Марией Васильевной Бахметьевой, от которого в шестидесятых годах появились дети — Александр, Михаил, Мария, Сергей). Расходы семьи увеличивались, а заработок Островского был небольшим. Ему хорошо платил Н. А. Некрасов (см., например, воспоминания С. Н. Худекова, стр. 306), но от театров — основной статьи дохода драматурга — он получал чрезвычайно мало: только императорские театры оплачивали драматургу пьесу, остальные пользовались ею безвозмездно. Материальное положение Островского начинает улучшаться лишь в семидесятые годы, когда было создано Общество драматических писателей, добившееся выплаты драматургам гонорара за пьесы, шедшие на провинциальной сцене.

86

Стр. 125. См. письмо драматурга С. В. Максимову от 6 ноября 1871 года (Островский, т. XIV, стр. 218). Посредничество Максимова с С. В. Звонаревым привело к заключению договора на издание шеститомного собрания сочинений Островского, но вскоре издатель, из-за расстройства дел, отказался от своих обязательств.

87

Стр. 125. Переговоры успеха не имели, см. письма С. В. Максимова А. Н. Островскому (Письма, стр. 213–220).

88

Стр. 125. Островским написано сорок семь оригинальных пьес.

89

Переводных пьес восемь[96] и написанных в сотрудничестве с двумя лицами: г. Соловьевым — четыре пьесы и г. Невежиным — одна.[97] Из оригинальных пьес семь написаны стихами. (Прим. С. В. Максимова.)

90

Стр. 126. Строки из стихотворения Ф. Б. Миллера, прочтенного им 9 апреля 1872 года на вечере, посвященном двадцатипятилетию литературно-драматической деятельности Островского. Напечатано в книге Н. А. Кропачева "А. Н. Островский на службе при императорских театрах", М. 1901, стр. 3.

"Материалы для словаря русского народного языка"

Стр. 94. Письмо М. С. Щепкина к сыну приведено с искажениями, извращающими его смысл. Вот подлинный текст письма:

"Любезный сын и друг, спасибо тебе за письмо, сожалею, что тебе нельзя было в это время иметь отпуск, и вместе с тем и рад, что правитель Канцелярией в отлучке: это дает тебе более деятельности и средств более вникать в устройство всей машины судопроизводства в матушке-России, которая так сложна, и верь мне, что это шаг вперед, а особливо в глазах такого начальника, как Г. Грот. Теперь о себе — я в Нижнем играл 19 спектаклей и из них 14 сряду каждый день и ничего, старость не совсем одолела, и все это за самую ничтожную плату, и в глазах многих, и в том числе и матери, это унизительно, а я думал иначе. Живя на даче нынешнее лето, я от скуки выучил роль Любима Торцова из комедии "Бедность не порок", в которой Садовский так хорош, но сама по себе роль при его игре грязна, чем более я вникал в оную, тем более убеждался, что в ней можно отыскать чисто человеческую сторону, и тогда самая грязь не будет так отвратительна, но как я не слишком доверял моей старой голове, то мне нужно было для полного убеждения ее сыграть где-нибудь — в Москве играть ее было неловко; первое, — что я получаю большую поспектакльную плату, и просить роль — все равно что просить 40 рублей серебром, и в отношении товарищества было неловко, я как будто из зависти к Садовскому решился показать его слабую сторону в этой роли, все это не в моей натуре — мое поприще уже оканчивается, а он еще не получает и полного оклада жалованья, а сыграть мне было нужно эту роль, это было потребность души — вот причина моей поездки, а тут не знали! я бы еще меньше взял, лишь бы только мог сыграть эту роль; это жертва для искусства, которому я отдал всю жизнь мою, и теперь не раскаиваюсь, несмотря на общий говор; я уже пережил те годы, в которые этот говор мог бы иметь влияние на меня, а особливо когда на деле вышло, что я не ошибался и что моя старая голова верно поняла дело и разогретое воображение затронуло нетроганные доселе струны и оне зазвучали

сильно и подействовали на душу зрителей. Анненков, издатель Пушкина, хотел написать об этом статью, которая расшевелила бы Садовского и подвинула его вперед, а то он, бедный, успокаивался уже на лаврах, думая, что искусство дальше идти не может, а это грустно, больно грустно; дай бог чтобы он <под>винулся, с этой мыслью и при его таланте он подвинулся в искусстве. <…>

Целую тебя много раз. Твой друг и отец М. Щепкин" (в сб. "А. Н. Островский — драматург", изд. "Советский писатель", М. 1946, стр. 226).

93

Стр. 94. Усадьба Щелыково была куплена А. Н. и М. Н. Островскими в 1867 году.

Стр. 107. То есть с Н. И. Крыловым.

Стр. 120. Причиной испортившихся отношений между драматургом и актером, возможно, послужило недовольство Островского поведением и творческим режимом Садовского, который, надеясь на опыт и интуицию, работал над ролями все меньше и меньше, проводя чрезмерно много времени с приятелями и все более пристращаясь к вину. Вследствие этого он 9 сентября 1865 года, играя роль воеводы в одноименной комедии Островского, по-настоящему уснул на сцене (см. воспоминания К. Н. Де-Лазари, стр. 391). Вполне вероятно, что возникшие между артистом и драматургом недоразумения усугублялись и какими-то разногласиями по ликвидации хозяйственных неурядиц Артистического кружка. На это как будто и намекает С. В. Максимов. Примирение между Островским и Садовским произошло, по всей видимости, в марте 1872 года, в дни юбилея драматурга (25 лет литературной деятельности).

Стр. 125. Островским переведено двадцать две пьесы.

97

Стр. 125. См. прим. 8 к воспоминаниям Н. А. Кропачева, стр. 556.